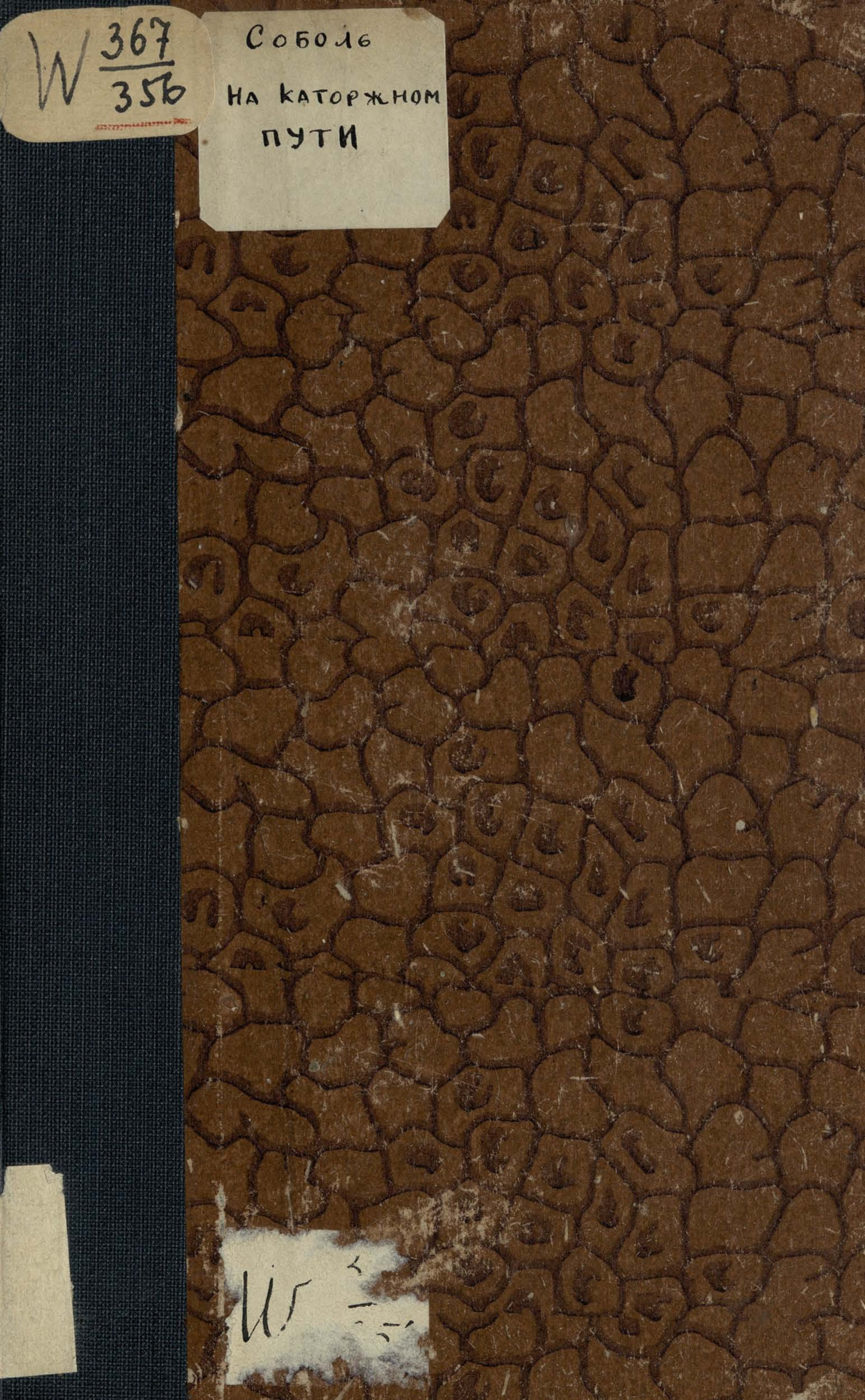
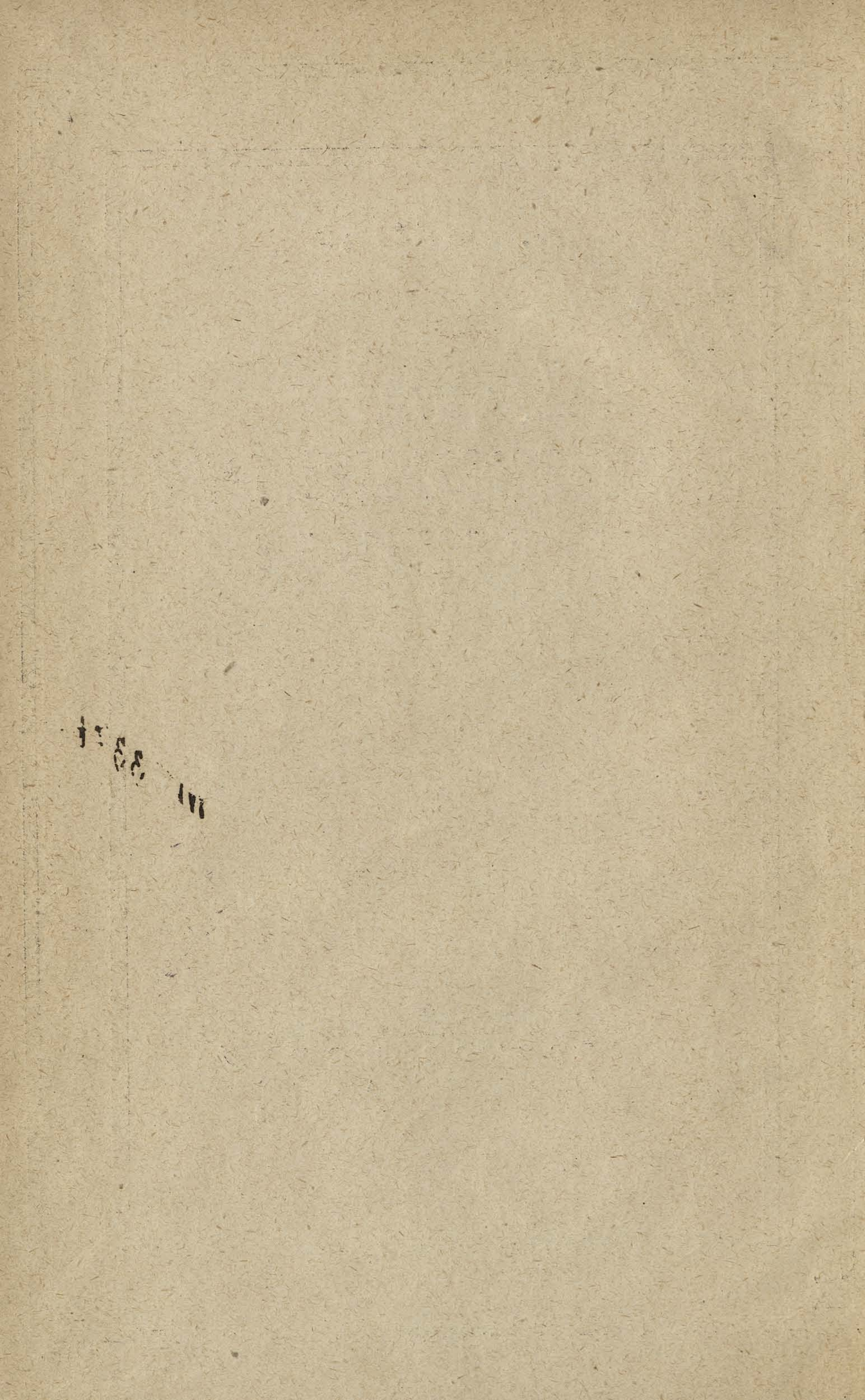

W 367/356
Соболь
На каторжном
пути

Л. СОБОЛЬ

НА КАТОРЖНОМ ПУТИ

„КРАСНАЯ НОВЬ“
МОСКВА
1 9 2 4

ПЕЛЕНКИН. 1924.



АНДРЕЙ СОБОЛЬ.

НА КАТОРЖНОМ ПУТИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1924.

Тип. „Коминтерн“ Государственного Из-ва. Ленинград. Екатерингофск. пр., 87.
Ленинградский гублит. № 14762. Тираж 10.000.—$4^3/_8$ л.

От издательства.

„Для меня слово РСФСР стало не только принужденным приятием, по независящим от редакции обстоятельствам, пяти букв, но пятикратным утверждением величайшего переворота в истории человечества, но пятикратным доказательством силы духа русского народа, но пятикратным подтверждением того, что треснувший вдоль и поперек весь земной шар обратным вращением к старому не вернется.

И знаю я, просто, как вот просто по утрам знаю, что надо умываться, что в тот час, когда чья-либо рука захочет и посягнет на одну из этих букв и тем самым на творческий порыв всего мира, я встану в число защитников и, иступленно ненавидя убийство во всех его видах, буду стрелять и убивать, буду, ибо горят и должны гореть пламенным огнем пять чудесных и прекрасных слов: родина, международность, мир, правда, человечность".

Так заканчивается появившееся (примерно, около года назад) в „Правде" „Открытое письмо" известного писателя Андрея Соболя.

В этом „Письме" А. Соболь, болея за писательскую честность, с редким мужеством и искренностью разоблачает фарисейское лицемерие писателей „с двойной бухгалтерией", — писателей, служащих и нашим и вашим, — и призывает писателей определенно стать по ту, или иную сторону революционных баррикад, потому что: „в наше время писатель не может, не смеет быть аполитичным". Это письмо, — несомненно, значительный литературный документ, — вызвало тогда же в эмигрантской печати ряд статей, с пеной у рта поносивших советского писателя вообще и А. Соболя — в частности.

Видный эсэр, политкаторжанин, комиссар правительства Керенского на северном фронте (XII-ой армии), А. Соболь „Открытым письмом“ сознал свои прежние перед Советской властью ошибки (а они у него были), решительно и безоговорочно поставил крест над своим эсэровским прошлым...

Настоящие очерки царской каторги, носящие преимущественно мемуарный характер, представляют собой ценность, прежде всего, как богатый фактический материал, собранный в одном фокусе и эпически-ярко рисующий неприкрашенную явь романовской „колесухи“.

Тот идеалистический налет, который является неизменным спутником почти всех произведений А. Соболя, в „На каторжном пути“ теряется в массе этого конкретного, заслуживающего всяческого внимания, бытового материала.

Здесь наш читатель найдет много интересного и крайне поучительного. И особенное значение приобретает книжка А. Соболя, по нашему мнению, для тех, кто знает ужасы царской каторги лишь по наслышке, издалека: для рабоче-крестьянской молодежи.

Любимому другу и брату
по скитаниям

Натану Гринфельду.

I.

Все было очень просто.

Или по молодости казалось простым?

Жандармы, как жандармы, обыск — как обыск...

Незабываемый был день, — день Нового Года.

А до этого — ночью — встреча Нового Года, смех, шутки, речи, песни о красном знамени, о баррикадах.

В то тяжелое время (декабрьское, 1905 года, после разгрома московского восстания) все-таки в иные минуты могли умели и разрешали себе смеяться, — и в маленьком польском городке в ночь под первое января бодро встречали Новый Год.

В декабрьский мороз мы провожали ушедшее, но светло глядели будущему в глаза.

А утром, с Новым Годом, пришла новая квартира: тюрьма.

И стало так, как говаривал когда-то один старый еврей:

„Новая квартира — новое счастье; новое счастье — новая жизнь; новая жизнь — новое несчастье".

Яркий зимний день; ведут тебя по улицам, а снег скрипит, на заборах, на крышах узорная бахрома — и не верится, что все это видишь в последний раз.

И хотя просто все, но где-то в глубине души сознаешь, что ты накануне большого события своей жизни, поистине готов опуститься железный занавес и что разрежет он жизнь пополам.

И то, что по ту сторону занавеса будет непоправимо, будет сделано уверенно, твердо, надолго, как надолго скроется солнце, как надолго (если не навсегда) надо забыть и про скрип саней и про то, что в зимнее утро так радостно румянится небо за дальней рощей.

Первая ночь в тюрьме — она также незабываема, как первая любовь.

Потом становишься крепче, уже не боишься решеток, уже привыкаешь к тиши. Но, когда в первый раз входишь в камеру, каким биением сердца отвечаешь стуку запираемой двери!

Дверь — точка: нельзя ее открыть, нельзя узнать, что за дверью — глупости, глупости! — надо стучать, стучать, стучать!..

— Я тебе постучу!

Первая ночь без сна, вторая... Потом становишься „старше"; нет такого положения, из которого не было бы выхода, — подождем.

А выход (весьма безвыходный!) не за горами.

В такой же солнечный день происходило заседание виленского военного суда.

В огромном зале, с царскими портретами, сладко дремал один из судей — старичек-полковник, а прокурор, лысый, хорошо откормленный, краснощекий, накануне пославший двух человек на смертную казнь, очень разумно и очень толково бисером нанизывал один пункт обвинения за другим.

Из посторонних никого не было, вся процедура прошла мигом, ни в чем не запнулись, гладко, ровно приспособили нужные статьи закона и скороговоркой прочли приговор.

Так же быстро постарались провести нас мимо друзей, столпившихся у ворот.

Нашелся горячий один, крикнул:

— Увидимся в свободной России, — но тотчас же умолк.

А в Лукишках нам дали понять, что до свободной России далеко и что надо запастись терпением: большим, философским.

Но мы были молоды, и, к сожалению, весьма плохими философами.

По правде говоря, в душно-вонючей камере, в идиотски-нелепом наряде трудно выдержать роль Панглоса, особенно, когда новому Панглосу всего-то 18 лет, а впереди четыре года каторги и вечное поселение.

Кончилось обращение на „вы“: появилось „ты“ с зуботычинами, с прикладом в спину, с окриками, с трех-этажными...

Исчезло собственное белье, — взамен дерюга; вместо обуви — нелепые коты и кандалы.

Заковывали целую партию в длинном, узком и темном коридоре.

Стояли в затылок и один за другим подходили, клали ногу на маленькую наковальню, и кузнец быстрым взмахом молотка расплющивал заклепки.

Издали казалось: вот-вот сорвется молоток и ударит по ноге.

Кладешь ногу на наковальню и кажется: железо обжигает.

Нет, нет, что-то другое обожгло.

И понятно, почему тихо в коридоре, почему не слышно человеческого голоса, почему сосед отворачивается от соседа.

А молоток стучит, стучит, не переставая...

Кончилась заковка — и вся тюрьма переполнилась звоном: первые дни не привыкнуть к нему, на первых порах не отвязаться от него, надоедливого, навязчивого.

И ночью звон: один шевельнет ногой спросонья, другой — звон слабый, будто незаметный, но ранящий сердце глубоко, глубоко.

Кандальный звон!

И в тюрьме он раздавался, и в вагонах по дороге к Байкалу, к сопкам, к тайге, и на пешем тракте сибирского простора, когда партия в 200 — 250 человек версту за верстой отбивает, пыль поливая каторжным потом, а на Амурской колесной дороге, вблизи синего Хин-Гана, и в темных карцерах, бесчисленных карцерах на длинном каторжном пути от Сувалок до Благовещенска, — от хмурых литовцев до косоглазых „хòди“.

Везде он был, везде, где только чернела решетка, где только серел каторжный бушлат, где только раздавалось:

— Становись на поверку!

Звон — мимо гор, лесов, полей, вдоль Волги, Камы, Байкала, Амура, зимой, летом, в дождь, в вьюгу, в жару, в стужу, — извечный царский кандальный звон.

Вечером поляки запели старую кандальную песню, завещанную польскими революционерами 60-х годов, — пели, аккомпанируя кандалами, танцуя, кружась.

Ругались надзиратели, угрожали высшим начальством, но кандальная песнь росла и ширилась...

Со звоном началась каторга.

Но, как всегда, наряду с жутким и страшным было смешное.

Помню встаешь утром, надо одеваться — и перед тобой непосильная задача: как надеть брюки. Начинается возня: сперва в одно кольцо проденешь, потом в другое — ничего не выходит; сызнова начинаешь — и опять путаешься.

Злишься и хохочешь.

Меня учил старик-уголовный женоубийца; по-хорошему учил, любовно, и если отметок не ставил, то во всяком случае давал ту или иную оценку.

Учил также, как подкандальники половчее уместить, как цепь к поясу привязать, как кандалы на ночь снять. Но мне попались узкие кольца — едва палец пролезал — и даром я потратил много усилий и не мало мыла.

Трудная наука снимать кандалы на ночь, чтобы ранним утром, задолго еще до поверки, успеть снова натянуть их. Были по этой части виртуозы: умудрялись в один миг.

Я научился расставлять ноги, не путаясь в кандалах, и даже бегать. Я научился спать, не отбивая правую ногу левым кольцом.

Я был готов к пути, а он лежал передо мной — неведомый и жуткий и — знал я — очень долгий и утомительный.

— Становись на поверку!

Утро, едва брезжит рассвет — и звенят и звенят кандалы.

II.

После суда, после месячного сидения в Лукишках, нас вернули в уездную тюрьму.

Трудно прошел месяц в Лукишках: полная изоляция в одиночке, ни одной газетной строчки, ни одного человеческого лица, прогулка по кругу один на один — и ненарушимая мертвая тишина.

Одно утешение: через решетку разговоры с соседом, видным тогдашним анархистским деятелем Т., разговоры, озираясь, в готовности каждую минуту спрыгнуть с подоконника в ожидании кары за нарушение порядка.

Под вечер повели в пересыльную, оттуда в дорогу: домой — да, да, старая тюрьма — это почти „дом свой“, — почти, когда путь твой пролегает по бесконечным тюрьмам российской империи.

Но вернулись мы иными: каторжанами, потому по-иному встретила нас старая тюрьма: патриархальные порядки канули в вечность, днем и ночью раскрытые двери с треском захлопнулись, свидания с мифическими женами прекратились, довольно внушительная кипа нелегальщины, доселе открытая взору каждого, ушла в подполье.

Нашего начальника тюрьмы звали: Наполеон Брониславович.

И он, некогда воск, по-наполеоновски расправился с нами, когда мы об‘явили голодовку, требуя возвращения прежних вольностей: подследственных раз‘единил, рассовал по углам, а каторжан назначил к немедленной отправке.

Мы голодали четыре дня.

Легко началась голодовка — пением „марсельезы“, криками „ура“, речами; на второй день уже стало тихо.

Помню: с нами сидел гимназист седьмого класса, террорист, кандидат в смертники, любил Чехова — и в первый день он все дразнил нас чеховской „Сиреной“, чтобы потом, два дня спустя, слечь в жесточайшем тифу.

На третий день тюрьма обратилась в кладбище: ни разговоров, ни смеха, даже шепота не слыхать — нет живых людей, только серые халаты на койках.

Серые стены, серые холсты, за окнами общей камеры — серый осенний день, — серая каторжная явь.

И выползают серенькие мысли — у тех, кто послабее:

— Довольно. Глупо: выше носа не прыгнешь. Принимая во внимание, что...

Вечером обход: Наполеон и куча надзирателей; у старшего надзирателя фонарь в руках (в тюрьмах тогдашней русской Польши по вечерам освещения не было).

Темно, только от фонаря падает бледная полоска; упадет отблеск на койку, — поднимется чья-нибудь голова, на миг, чтоб снова упасть.

Дрожит фонарь, шатаются тени.

Счет идет:

— Первый, второй, третий...

Все на местах — и будут завтра, послезавтра.

Наполеон шепотком спрашивает:

— Не лучше ли кончить?

Нет ответа, ни один халат не пошевельнулся, ни один серый комок не вздрогнул.

Старший надзиратель поднимает фонарь — выступают углы, плесень на стенах, сырые пятна, сверкнули форменные пуговицы на Наполеоне.

— Так как же? А?

Нет ответа, — и звякнули ключи, застучал затвор и топот тяжелых сапог перебрался в коридор.

Тянется ночь, тянется бесконечно, как обоз в осенний дождливый вечер по размытой проселочной дороге.

А утром так чист дневной свет, так не нужен он, так больно от него глазам, как больно ночью душе, как больно и трудно повернуться, встать.

Все безразлично, все не нужно.

На пятый день все наши требования удовлетворены; даже вино получаем, по столовой ложке для подкрепления.

Проходит неделя — и мы уже на дворе, вокруг нас конвой, у старшего конвойного наши статейные списки, у нас на руках мешки с казенным добром: все-таки победил Наполеон — разделяй и властвуй — и боевой элемент отделен, назначен преждевременно в отправку.

Наполеон суетится; счастлив, поджарый, и даже желает „счастливого пути“.

Раскрываются ворота; на улице казачий взвод — все очень пышно обставлено, — мы в четырехугольнике пик.

— Становись в затылок!

Быстро проходим улицу, сворачиваем на шоссе, ведущее в губернский город, а минут через двадцать все уже насквозь мокрое: и мы, и конвой наш, и наши мешки.

Хлещет дождь, грязь все гуще, все труднее шагать по дороге, а она длинная, унылая, то полями, то редким лесом.

Мешки набухли, — утроилась тяжесть, грязь облепила кандальные кольца, сползают подкандальники, из-под круглой арестантской шапки ручьи текут, казачьи кони налезают, версте конца не видать.

На двадцатой — долгожданная этапка.

Приходим туда поздно, в сумерки; сбрасываешь мешок на пол, без сил падаешь на нары, а чаю горячего хочется мучительно, до слез, но трудно подняться и за кипятком сходить.

И как отрадно, когда добрая душа — староста наш неунывающий — подносит тебе кружку мутного чаю. Пьешь и радуешься:

— Ну, ничего, жить еще можно.

А утром, рано — рано, тянут за ноги:

— Вставай!

Бледно-синий рассвет, точно взяли крынку снятого молока, разлили ее по оконным стеклам и размазали—опять мокрая дорога, мокрые кусты, мокрая обувь, мокрые галки на мокрых, мертвых полях, опять придирчивый окрик конвойного, опять хлюпает грязь — и версты, версты без конца.

Состав нашей партии пестрый: политических всего семь-восемь человек, да аграрников человек пять, а остальные — уголовная мелкота: кто на суд, кого отправляют на родину, кто на дознание, народ напуганный, от первого окрика шарахается в сторону и свирепо ненавидят нас, каторжан. Не будь каторжан — три-четыре дня шли бы с прохладцей, отдыхали бы в деревнях, водку бы пили с конвойными, а тут казаки, пики, строгости.

К вечеру второго дня подходим к Сувалкам.

В Сувалкской тюрьме обычный прием: обыск, раздевание, перекличка, сверка с фотографическими карточками, но зато сухая камера, а главное — сухое белье.

И еще одно: окна выходят на улицу. Поутру на тротуаре друзья: машут платками, приветствуют.

По положению должны мы пробыть в этой тюрьме четыре дня; пока не составится новая этапная партия.

Но, волею судеб, взамен — четырехдневное сидение в военном карцере, на гауптвахте, а вместо мирного отдыха — бунт, разгром казенного имущества и об'явление тюрьмы на военном положении.

Началось с обычного, — подготовления к побегу.

Ведь, все тогдашние дни наши были насыщены одним: бежать.

Ведь, все мысли шли от слова „побег" и к слову „побег" возвращались, какими Рокамболями были мы все, если не на деле, то в мыслях, и какими, надо сознаться, безудержными фантазерами. Чуть обвалилась штукатурка — кончено, есть лазейка; приподнимается слегка половица — ура, выход найден; нечаянно обнаружилось, что труба в печи широка — чудесно: освобождение близко.

Сколько прекрасных, до мельчайших подробностей разработанных, планов мы хоронили! Какие изумительные комбинации рождались ночью, чтобы днем грустно умереть!

Помнится: в уездной тюрьме, где мы сидели до суда, мы обнаружили, что под нашей камерой погреб. Неделю работали: прорыли ход в погреб, дали знать на волю, на воле стали готовиться, а в одно воскресенье нас застигли в погребе: в неурочный час кухарка начальника пошла в погреб за капустой и наткнулась на землекопов. Нас погубила на первых шагах капуста, но неведемо, что погубило бы нас в дальнейшем. Теперь, много лет спустя, наивными кажутся мне все наши тогдашние попытки. Но в то время — как жили мы этими попытками, какой безмерной радостью переполнялись из-за каждого кирпича, ловко и незаметно вынутого под нарами, как ясно видели над собой и небо и звезды, как отчетливо рисовали себе путь к свободе, каким огнем горели и какой болью сгорали!

Так и загорелись в сувалкской тюрьме. Работа шла ночью в верхней камере: двое работали, третий дежурил у глазка — я был в нижней камере. Однажды ночью дежурный у глазка задремал, надзиратель, в мягких туфлях неслышно прохаживаясь вдоль камер, подметил что-то неладное.

Ночью раздался отчаянный крик:

— Товарищи!...

Минут через пять вся тюрьма ходуном пошла.

А когда сверху прокричали:

— Нас уводят! — мы в нижней камере восстали: все, что было в камере — нары, посуду, окна, табуретки, столы, мы мигом превратили в щепы.

Разгром шел под крик:

— Требуем начальника!

Стали печи разбирать, полетели кирпичи.

Начальник пришел, но с конвоем.

В одну минуту мы были схвачены, изолированы; тюрьму об'явили на военном положении, а товарища из верхней камеры и меня отправили на военную гауптвахту, где и швырнули в карцер: меня в один, товарища в другой, и обоим посоветывали успокоиться.

Как водится: побушевали, а потом успокоились — темень, холодный пол и штык — средства довольно успокаивающие.

Плохо в карцере, тем более, когда у тебя в бушлате случайно уцелевшая коробка папирос, но нет спичек, а у соседа, наоборот, нет папирос, но есть спички, а между ними — стена.

Поздно ночью удалось уговорить часового, — попался податливый — не устоял перед десятком папирос.

На пятый день начальство, повидимому, решило, что мы успокоились и — нас вывели.

А вскоре мы уже были на вокзале.

На перроне нашли, что одних кандалов мало, — надели еще наручники.

— Только до Гродны, — предупредил нас начальник конвоя.

Но продолжалось это долго, вплоть до Бутырок.

Тут же на перроне, в грязи, в слякоти, обыск, когда совершенно спокойно и мирно можно было в вагоне, потом повели в вагон, предупредили внушительно:

— К окнам не подходить.

И загромыхал поезд, застучали буфера, — поплыл вокзал.

Вскоре окна запотели, часовые встали между ними и нами. Было больно и неудобно от наручников, духота висела от потолка до пола, пахло махоркой, селедкой, в отделении

для конвойных пиликала гармошка, там же густо и крепко поминали отца, мать, бога и всех святых, по ночам будили по три, по четыре раза: проверяли.

Замелькала тюрьма за тюрьмой: Гродненская, Виленская, Смоленская; в каждой при приеме и при выходе обыск, в каждой — заново перековка кандалов и в каждой — несбывшиеся мечты о побеге.

В Гродненской тюрьме застали вольную жизнь при открытых днем и ночью дверях, с библиотекой, с рефератами, с хором; в Смоленской — мертвую тишину глухо завинченных камер, вонючую тюремную баланду и царство клопиное.

Много лиц прошло, много хороших и дурных людей, были встречи с старыми знакомыми, кое-где надписи на стенах рассказывали о том, что произошло в той или иной тюрьме, кто куда ушел, кто к чему был приговорен.

В Смоленской пересыльной сбоку от печи я прочел:

„22 февраля в тобольскую каторжную тюрьму прошли... такие-то и такие-то... У Миши... туберкулез, дайте знать матери, Киев, Фундуклеевская, номер...“

Там же, поодаль:

„Вся наша надежда на рабочих. Мы еще вернемся“.

Дальше:

„Колька... провокатор. Где не увидите его, бейте беспощадно: я отвечаю — Алексей...“

В погожий апрельский день мы под‘ехали к Москве.

Повели нас к Бутыркам, вели долго, через всю Москву. С грохотом шли — в партии человек триста, а когда звенят триста пар кандалов, — то это довольно внушительно. Вели нас медленно — старухи монеты совали, кое-кто хлеб протягивал, останавливались прохожие.

Звенел трамвай, купола горели, пестрели яркие московские вывески, пахло весной, улыбались девушки, а мы шли и звенели кандалами.

Помню: остановился трамвайный вагон, а на задней площадке стоит гимназистка, худенькая, так лет шестнадцати, две-три книжки ремешком стянуты — перекинулась она через перекладину, точно пополам переломилась, глядит и плачет...

Будто сентиментально, а ведь так навсегда и запомнил ее.

III.

Хочется как можно меньше говорить о ненависти.

Но трудно забыть о ней, когда вспоминаешь Бутырки, бутырские камеры — „двадцатки", утренние и вечерние поверки с нарочитыми издевательствами, с гиканьем надзирателей.

И еще: когда вспоминаешь тех, кто из Бутырок не вышел: кто в пролет лестницы кинулся, кто на ремешке повесился, а кто утром встал безумцем.

Не только слабые, безвольные, не только зеленая молодежь поддавалась и, стиснутая со всех сторон, ежедневно избиваемая, ежеминутно подло оскорбленная, никла и гибла. Падали крепкие, сдавались опытные, на своем веку не мало пережившие.

Тогдашняя бутырская администрация (1906—1907 г.г.) была как на подбор: зверь-зверем, даже надзирательницы, как вот та самая, которая по приходе нашем, когда я подошел к столу со статейными списками, не сняв шапки, ударом по голове сбила с меня шапку, а к помощнику начальника обратилась с усмешечкой:

— Форсит!

Показательным был обыск при приеме партии: приказали всем раздеться догола и заставили два с половиной часа ждать в огромной каменной холодной приемной, пока прибудет начальство.

Потом сворой налетели надзиратели, роясь не только в белье, да и младшие помощники начальника не гнушались; особенно один старался.

То и дело слышалось:

— Раскрой хайло шире!

— Присядь!

— Подними ногу!

— Высунь язык! — и пальцем шарил во рту, не спрятана ли монета под языком, не засунута ли записка за щеку.

Час проходит, третий, а обыску конца нет: ощупывают каждую складку рубахи, на ноге пальцы перебирают, в уши заглядывают.

Очередь до тебя еще не дошла, а уже сил нет стоять, присесть некуда, мучительно стыдно за себя, за других, за человека, а за окном солнце и бегают по асфальтовому полу зайчики.

— Раскрой хайло!

— Рожу поверни! Уши покажи!

Друг от друга отварачиваясь, люди одеваются торопливо, путаясь в рукавах; кто бледен, кто багровеет и, вижу, — каждому не хочется встретиться с глазами другого.

Потом звон идет по лестнице: ведут наверх стричь.

Как будто нужная вещь, после дороги длинной, грязной, а на деле — только новое унижение с неот‘емлемыми уже отныне бутырскими подзатыльниками, ругательствами, пинками.

Беда тому, у кого за дорогу волосы подросли: не стригут, а рвут волосы тупыми ножницами, то пригибая голову, то запрокидывая ее.

Двое из нас запротестовали: отказались стричься.

Сейчас я бы не мог ответить, почему мы отказались, но тогда — о, как определенно и твердо мы знали тогда, почему мы встали на дыбы, почему заартачились, почему махнули рукой на все последствия и вспыхнули: это проглянула, наконец, живая душа, — ведь суть таилась не в стрижке, обыск был тоже хорош! — что-то хрустнуло внутри и ясно стало:

— Не пойдем.

И не пошли.

Остригли всех — нас не трогали; увели всех, рассортировали по камерам, а мы все стоим и ждем, а вскоре мы уже лежали на полу, а на ногах, на шее надзиратели.

Летят клоки волос, надзирательские колена упираются в грудь, крепкие, жилистые пальцы пригибают к полу: не пошевельнуться, не подняться, хрипишь и задыхаешься.

Минут через десять, полуголые, в одном нижнем белье и халатах (одежду верхнюю сорвали) мы уже в погребе, в знаменитых бутырских карцерах.

Погреб. Одна часть разбита на клетушки, другая, свободная, еле-еле освещена грошовой лампченкой — окна не только не видать, но чувствуешь, что его вообще нет.

Ввергают меня в одну клетушку, товарища — в другую, запирают за нами дверь — и мы в непостижимой темноте. Бреду наугад, руку протянув вперед — и сразу нащупываю стену: догадываюсь, что клетушка коротка и узка. Хочу сесть, а на полу воды с вершок, стены мокрые и склизкие. Опят стучат затвором: надзиратель сует мне кусок хлеба и какую-то посудину с водой. Ставлю ее наугад на пол; вскоре пить хочется — ищу посудину, нахожу, подношу ее к лицу — отшатываюсь: вонь нестерпимая. Понимаю, в чем дело: ищу другую, нахожу и снова отбрасываю, — так на все время остаюсь без воды. Да и без хлеба тоже: держать его негде, в арестантском халате кармана нет — положил на пол, в уголок, а когда взял потом — оказалось: весь в слизи, весь мокрый, весь пропах. На следующий день я хлеб сунул уж за рубаху; так и спал с краюхой, оберегая ее от мокроты, да и от крыс.

Крысами кишмя-кишело.

Перебегали, шуршали, пищали под самым ухом.

Лег — одна по ногам скользнула, другая голову задела, третья руку тронула. Вскочил, ошалев. Пока бодрствуешь, не страшно: то вспугнешь их окриком, то ногой качнешь и звоном прогонишь. Но жутко заснуть, жутко вдруг проснуться от омерзительного прикосновения.

В первую же ночь товарищ мой, сосед по карцеру, весть о себе подал: заснул он, а вскоре вскочил, обомлев: из-под халата вытащил крысу.

Тьма, крысы, мокрые стены, мокрый пол, но ко сну все же клонит — вот и приучился: будто спишь, — не то сон, не то полудремота, — а помнишь, что надо время от времени ногой встряхивать и звоном отпугивать.

Идет день, другой, и не знаешь, что на дворе: ночь или день. Смену дней узнаешь по приходу надзирателя: принесли хлеб — значит, сутки прошли; другой раз принесли — другие сутки прочь.

На третий день или на четвертый я словно помутнел: все стало безразлично, даже и крысы, даже кандальным звоном перестал пугать их, но когда пришел надзиратель и я вдруг во тьме увидел огонек его папиросы, — я кинулся к нему.

Помню, как сейчас помню, — задыхаясь, крикнул ему:

— Дай, дай курнуть! Рубль за затяжку.

Надзиратель считал затяжки, а я сидел на полу и дрожал — от счастья, от холода или горького сознания, что в конце концов папироса придет к концу? — и курил, курил с таким же восторгом, с каким я много времени спустя услышал от проводника-контрабандиста:

— Юш, Германия.

Когда я уходил из Бутырок, надзиратель получил свои деньги за семь затяжек. В конторе лежали мои деньги, что-то около десяти рублей; надзиратель благородно отказался от платы по рублю за затяжку, взяв за все 2 рубля.

Был он худой, лысый, злой, с острым кадыком, пахло от него нехорошо. Получив деньги, он мне пожелал:

— Поскорее ослобониться.

Семь затяжек — вы только подумайте! Ведь это было тогда семь светлых мгновений.

На четвертый день в третьем карцере от меня избивали вновь приведенного арестованного.

Кого, как его звали — до сих пор не знаю. Я слышал только, как загремела дверь, как затопали надзиратели, как зазвенели кандалы нового узника.

Политический? Уголовный? — я кулаками забарабанил в дверь, крикнул:

— Кого привели?

И в ответ раздался вой: избиваемый не кричал, а выл.

Темень, каменный гроб, сознание, что ты бессилен, и этот вой — нечеловеческий, исступленный.

Разве выдержишь, разве мыслимо в такую минуту твердить себе:

— Будь рассудителен?

Тьма проклятая и грохот отворяемой бешеными руками двери, но — мимо, мимо!

Когда кончился срок карцерного сидения и нас вывели — я был глух, слеп и нем ко всему.

Хотелось только одно: растянуться, лечь и заснуть, но так, чтоб не надо было помнить: шевели ногой, шевели. А в „двадцатках“ я нашел избитых людей, койки с утра при-

винченные к стенам, чтоб никто до вечера не посмел прилечь, отдохнуть, рассказы о недавних самоубийствах, режим казармы и сумасшедшего дома, нравы застенка, надзирателей-садистов, покорность пришибленных, тишину кладбища.

Не было сна и не было отдыха.

Новый сосед по койке мне говорил:

— Я ненавижу Москву, — и добавлял: — Из-за Бутырок. Город живет, солнцем залит. Почему он молчит, ведь он знает, что посредине — Бутырки...

Молчала политическая каторга. И только изредка однадругая вспышка, подавляемая тотчас же — жестоко, беспощадно.

Когда мы уходили из Бутырок и снова шли через весь город, я глядел на Москву и думал о том, что в Москве остался кусок моей души — темный, как тот карцер, где по ночам шмыгали крысы.

IV.

В Самару наша партия прибыла ночью.

Вели нас с факелами по сонным улицам. В багровом свете факелов вырисовывались штыки конвойных, глухо раздавалась команда:

— Шевелись! — чадили факелы, скользили тени, звенели кандалы, пахло смолой, дребезжали позади телеги с казенным добром.

Все ближе и ближе Сибирь, неведомая и столь знакомая по книгам, по рассказам.

Все чаще и чаще песнь:

Славное море, священный Байкал...

Скоро и мы увидим его, — как-то встретит нас Сибирь, чем удивит, куда кого закинет?

... Шилка и Нерчинск не страшны теперь...

Еще не знаем, кому уготован Нерчинск, кому предназначен Тобольск.

Но поем все вместе:

Эй, баргузин, пошевеливай вал!

Еще тысяча верст, еще пятьсот — и кончен путь.

Смеется наш староста.

— Чудаки! В Сибири каторжных тюрем прорва. Начнут вас гнать из одной в другую, почище, чем в России.

Верим ему: на то он и бывалый человек, „обратник“.

Светло запомнилась встреча с Григорием Фроловым (убившим самарского губернатора Блока).

Застенчивый, скромный, он пришел к нам с большой любовью ко всему живому, чудесной улыбкой он улыбнулся нам и сразу стал своим: своим, любимым.

На перроне самарского вокзала он был близок к смерти: пьяный конвойный офицер, придравшись, занес над ним шашку... На один миг вся партия замерла. Но пошатнулся офицер — и облегченно вздохнула серая груда: уголовные крестились, женщины радостно хныкали. Поезд тронулся, сменился прежний конвой другим — подобрее; запели мы „марсельезу“ и легко было от сознания, что жив Фролов и что он с нами.

Остались позади русские тюрьмы — пришли сибирские: ново-николаевская, канская, красноярская.

Наконец, добрались до иркутской, где за остроконечными палями ее ждали отправки в различные каторжные тюрьмы тысячи две каторжан.

Наша партия потонула, растаяла в каторжной гуще: брат потерял брата, друзья друзей — в конторе разбирались в статейных списках, тасовали их, перетасовывали: один в Алгачи попал, другой в Акатуй, третий в Кутомару, четвертый — в Горный-Зерентуй.

Воистину оказалось, что в Сибири каторжных тюрем прорва!

V.

Мы носили серые куртки, неуклюжие дерюжные штаны, уродливые круглые шапки — серая придавленная каторжная толпа, втиснутая в мертвый четырехугольник.

И эту толпу давили, били; над ней измывались, ее унижали—и каждый шаг каторжной жизни был отмечен болью, нечеловеческой мукой.

Но не всегда эта толпа покорно молчала, не всегда она безропотно сносила издевательства, унижения, — и каторжный путь русской политической каторги отмечен многими героическими выступлениями, когда кипел и восставал человеческий дух, прикрытый серой курткой, но ею не уничтоженный.

Был один день в году, один незабываемый день, когда — (все равно, где: „на колесухе“ ли, в Тобольске ли, или даже в Бутырках)—сметая все преграды, презирая все пути, игнорируя все аттрибуты власти, серые куртки поднимались, как один человек, и бурно, пламенно приветствовали первое мая, сквозь все решетки, сквозь все двери и затворы, крича миру, грядущей революции, оставшимся на воле друзьям по прошлой борьбе и всем недругам:

— Мы еще живы!

И из года в год, по всей каторге в этот день проносился гордый майский клич, — клич серых курток, клич серых шапок.

Затем шла своим чередом расплата; долгая, жестокая. За каждую минуту первого мая расплачивались долгими днями карцеров, голодовок.

Но разве где-нибудь, когда-нибудь революция давалась дешево?

И, скованные, мы знали, мы чувствовали, что наше первое мая на каторге — это подлинное революционное действие.

И — мы шли на все.

... И вот приводит память: пыльный пеший тракт, каторжный тракт к Александровскому Централу.

Партия в двести с лишним человек надрывно отбивает версту за верстой. Дорога все время под‘емом, с каждой верстой все труднее и труднее взбираться на гору.

Вот порвались подкандальники, кольцо сползло с петли и давит ногу все жестче и жестче, а до первого привала далеко. Не позволяют остановиться, переобуться, поправить подкандальники, наладить половчее: солдатский приклад настороже. Двести человек, изнывая, глотают едкую пыль, она за нами столбом, она смерчем клубится перед нами.

Жарко; солнце точно с ума сошло: наливается огнем и нас сжигает, а воды и в помине нет, как нет конца тракту.

Прикусив губу, с усилием волочишь ногу—и на первом привале долго держишь ее в ручье и благодарно думаешь о том, какая чудесная вещь вода, —но кричат конвойные:

— Становись!

Встаешь в затылок уголовному: шея у него черная, вся в волдырях.

Час за часом бежит, а перед тобой все одни и те же волдыри, все тот же грязный и, в тот день особенно ненавистный, затылок.

А на этапке (лачуга, грязная—но сегодня она чудится дворцом, а каждое бревно ее краше мраморных колонн), вдруг от одного к другому, сперва шопотком, сперва под сурдинку, потом все громче и громче, маленькая, но такая яркая и нездешняя весть: завтра первое мая.

И эта весть одновременно—и пароль, и знак, и напоминание, и приказ.

К дьяволу, ко всем святым и не святым чертям летят мысли о ночном отдыхе, о заслуженном отдыхе после пыльных верст, о чайниках с горячей водой.

И к этим же чертям летят осторожные мыслишки о конвое, о возможных столкновениях, о расплате, о том, что нас мало, что уголовные не поддержат.

Как будто смешно: глухая этапка, до ближайшего населенного места едва доскачешь, кругом лес да пыль, да вьется мертвый тракт—глушь сибирская,—кто нас увидит, кто нас услышит, кроме сосен да елей?

Но только „как будто“.

И решение принимается твердо, безоговорочно: бастовать, первое мая провести здесь, ни под каким видом в дорогу, сказать конвою, что в дальнейший путь двинемся только 2-го, митинг, речи (раз‘яснение темной солдатской массе, что она... и т. п. и т. п.), песни.

И кончено: на все итти, но на своем стоять.

... Ночь, весенняя сибирская ночь, свежая, полная неиз‘яснимого очарования. В этом году весна ранняя,—нагрянула сразу, все кругом растормошила.

Что-ж, и мы грянем — тоже сразу.

Ночь ко сну клонит, дает себя знать пройденный путь, но какой тут сон, когда завтра первое мая, когда завтра, быть может, ощетинятся штыки и по стальному скажут нам, прикажут нам:

— В путь.

И что-ж: пойдем, подчинимся силе?

Бессонная ночь, тревожная.

И гадаешь, точно старая баба: чет — не чет, пройдет — не пройдет?

Забываешься в дреме, стремглав летишь в сладкое небытие, — а сосед тебя толкает:

— Спишь?

— Что ты! Да разве...

— Как по твоему: пройдет?

И уже улетучилась дрема.

Еще небо не светлеет, еще глухая тишина на той половине этапки, где конвой, а мы уже все на ногах: в эту минуту петухи еще только третий сон свой петушиный видят, а мы уже одеты, обуты — и наготове.

Чет — нечет, пройдет — не пройдет?

И когда раздается басок старшего конвоира (как знаешь каждую его интонацию, как гулко и тревожно он отдается в ушах!), — мы все, точно по команде, точно просвистела над нами плеть, выпрямляемся.

И, молча, но решительно, твердо наша депутация толкает двер: на переговоры.

Кругом обычная предутренняя арестантская возня: плеск воды, грохот кандалов, шлепки, руготня, кашель, писк неизменного шута (в каждой партии свой обязательный шут), перебранка из-за места у рукомойника... Все это проходит мимо, все это сегодня не свое, — чужое, выдуманное, ибо настоящее там — за дверью.

Почему „наших“ не слыхать? Что там? Так долго...

А когда наши возвращаются, — с удивлением узнаешь, что прошло-то всего каких-нибудь пятнадцать минут.

Чудо, весеннее чудо: хочешь — верь, хочешь не верь, а что-то стряслось с нашим старшим: согласился на один день отдыха.

— А дальше? — раздается недоумевающий голос.

И действительно: а дальше? А что он скажет, когда мы запоем, когда мы заговорим, когда начнем про царя, про генералов и прочее?

В весеннем утре яд разлит, в весеннее утро нет места осторожным скептикам, дальновидным резонерам, — пьянит первое мая.

После чая мы все на дворе.

За нами остальные — уголовные, сослепу, не зная в чем дело, толкаясь, спеша и недоумевая.

Недоуменно глядят на нас конвойные.

И когда громко (так звонко, так молодо) раздается первое четкое слово:

— Товарищи! — с крыльца бежит обалдевший, растерявшийся старший и почему-то нелепо, криво, по-бабьи машет рукой.

Но уже поздно.

И, на миг блеснув, пропадает в весеннем солнечном тумане короткая мысль:

— Сейчас будут стрелять — расплывается, тонет, исчезает.

Но все нипочем: первое мая!

... Отшумели песни.

В этапку нас вгоняли довольно прилично, только подзатыльниками, даже без прикладов.

Весь день мы были заперты. Но весь день разливались наши нестройные песни.

А 2-го мая утром хлынул дождь, — проливной, по весеннему бешеный.

И в дождь нас погнали, но как! Сзади, с боков налетали с прикладами, били наотмашь, с налету; гикали, ухали — и гнали, гнали, гнали...

Падал один, — его поднимали теми же прикладами.

Падал другой, — его били по ногам.

2-го мая нам отплатили за первое мая, отплатили сторицей.

Бег нечеловеческий, исступленный, продолжался до самого Централа.

... И когда вплотную придвинулись сторожевые будки по углам Централа, — вся партия повалилась наземь, тут же в грязь, в воду, в лужи!

Лежали в изнеможении и ждали появления начальства, переклички, приема.

VI.

Было нас в Централе около тысячи человек; политических сотни две. Дипломатическими усилиями добились отдельных камер; ходили без кандалов, обладали солидной библиотекой, наладили связь с волей, гуляли весь день, и не только мы, но и уголовные.

А двор такой величины, что на прогулке всем вдоволь места, будь хоть вся тысяча налицо.

Два армянина соорудили на дворе печурки: жарили пирожки, продавая их по три копейки за пару: бойко торговали. И с утра до шести часов дня гудел двор: тут и лапта, и городки, и французская борьба, а нередко и танцы — соберутся кругом горцы, бубнят, ладонями прихлопывая, а в кольце бешено, дико несется черноглазый, чернобровый худощавый молодец в сером бушлате — и будто нет ни вышек по стенам, ни часовых; вот-вот, гикнет, топнет ногой, вскочит на лошадь, взмахнет кинжалом — и поминай как звали, ищи вольную птицу в горных аулах.

Во дворе в летние часы купались; правда, не со всеми удобствами, но все же была видимость купания.

Когда-то в шестидесятые или семидесятые годы некий начальник из либералов отвел от горного ручья канаву, прорыв ее в ширину двора. Возможно, что в старые времена была она полноводной — я же застал ее мелкой, в очень жаркие дни засыхающей, но после дождей шумела она совсем по-настоящему...

По вечерам читали, занимались: были преподавательские группы, лекторские, солдаты-политики, крестьяне-аграрники преодолевали четыре правила арифметики, воевали с буквой ять.

Изредка мирный уклад нарушался, но наш департамент по иностранным делам кое-как изворачивался, сглаживая шероховатости, входя в длинные обсуждения с начальством.

Кое-как держались, оберегая вольности и, хотя ясно чувствовалось, что все это белыми нитками шито, толчек один и вся наша вольная жизнь обернется лицом настоящим, лицом царской каторги, — все же старались об этом не думать и торопились наверстать в удачливые дни возможное и нужное.

И, предугадывая возможное, пока учились и, надо сказать, что за немногими исключениями, учились крепко, основательно. Каторга — каторгой, но, если не все, то большинство верило, что когда-нибудь мы увидим новую Россию и ей, возрожденной, свободной, пригодимся.

Работа шла во многих направлениях: от азбуки до „Капитала“, от Малинина и Буренина до „Русской общины“ Качаровского, от краткой географии до фортификации.

И мастерские были: слесарная, токарная, плотничья; утром за рубанком — вечером за „книгой“; в мастерских, разумеется, работали и уголовные.

Жили мы с ними дружно. В мое время все старания администрации пересорить нас ни к чему не приводили. После все пошло прахом, как и наши вольности и наша трудовая жизнь.

„Демократическая“ подавляющая часть уголовных помнила, что первые „политики“ — матросы помогли им свергнуть власть „Иванов“, а „Иваны“ поневоле молчали.

Жили они в отдельной камере — „короли в изгнании“. Когда-то из этой шестой камеры шли суд и расправа; с молчаливого согласия каторжного начальства „Иваны“ пригнули всех, забрали в свои руки кухню, распределение работ — и над каждым заключенным висел кулак.

Зато администрация была спокойна: „Иваны“ отвечали за порядок, „Иваны“ карали виновных, „Иваны“ наблюдали за чистотой и работой.

С первым приходом матросов старый порядок затрещал: вспыхнула революция, народ восстал и победил.

Новые, неслыханные слова принесли с собой матросы, в затхлом углу двойного рабства повеяло свежим, бодрым.

Мне рассказывал один уголовный, бывший учитель, хилый человек с трагическими глазами, отцеубийца, с которым я не мало часов провел, сидя у канавы:

— Среди матросов самым бойким оказался один, чернявый. Вечник, очень милый парень. С каждым битыми часами беседовал, убеждал, уговаривал.

Я ему говорю: ничего не добьешься. За пять лет изучил я нашу уголовную толпу. А он мне:—Это мы увидим.—Увидим, — говорил я, что ты один сделаешь? Надорвешься! Шпана покричит, а расплачиваться будешь ты. Со шпаной каши не сваришь.—Сварю! — отвечает чернявый. Им восьмерым одну камеру, а в других по сорок душ напихано! Им все, а прочий народ голодай. За что? Все равно, все одной команды. Грабеж это, издевка. Такое стыдно терпеть.

И, знаете, ведь успел, расположил к себе многих. Раньше всех его поддержали грузины, а один осетин все торопил: — Убыт! Головам в стенку. — Но матрос ждал минуты нужной. И вот дождался. Не помню, по какому случаю „Иваны" закутили: водку достали, а на закуску прикарманили все арестантские порции мяса. И вот пошло по тюрьме: „Иваны" кутят, едят чужое добро. Из грузинского угла закричали: —Сам выноват. Пачему молчишь?—И не смолчали.

— И что же?

— Страшное было. Дрались в бане, в прачешной, в коридоре. Троих убили, остальных покалечили. Осетин погиб, на чей-то нож напоролся. Надзиратели попрятались...

Революция победила, но камера „иванская" все же осталась, правда, с весьма куцыми правами.

По старой памяти начальство любило ее; помощник начальника весьма дружески относился; просит камера двух человек для уборки — старший надзиратель выбирает самых молоденьких, а по утру при поверке помощник начальника спрашивает улыбаясь, отечески:

— Ну что, ребята, поженились?

В ответ грохочет вся камера.

До Александровского Централа уголовный мир был все же вдали от меня, подойти к нему вплотную не удавалось; не успеешь приглядеться, а уж тебя в путь-дорогу.

Впервые в Александровском Централе связала нас надолго общая крыша. Состав более или менее оседлый, день долог, лиц много, двор велик, двери настежь, — гляди да приглядывайся.

Кроме учителя, подружился я с одним из крупных воров. В иркутской тюрьме, при строжайшем режиме, умудрился он фабриковать фальшивые полтинники и не малое количество сбыл. В 1904 году он столкнулся с первыми политическими; когда я его увидал — это уж был убежденный анархист, читавший Крапоткина, Эльцбахера. Не заискивая перед политическими и не гнушаясь своих (что почти в таких случаях обязательно), он держался превосходно, в библиотеке нашей был одним из усерднейших абонентов, и, что было удивительнее всего, стихов не писал: я перевидал не мало уголовных, к „политике“ потянувшихся, и все они, как обязательное правило, писали стихи, весьма революционные и очень сантиментальные. Когда мы подружились, он мне сказал, что убежит во что бы то ни стало, а срок за ним числился не малый — пятнадцатилетний — и первым долгом в Лондон, к Петру Алексеевичу.

Так и говорил: не к Крапоткину, а к Петру Алексеевичу.

Года полтора спустя, в этапке гантимурской, по дороге в Зерентуй, я узнал от старых александровцев, что он бежал с работы, бежал безрассудно-смело и удачно.

Издали я одно время долго следил за одним белоруссом, — Макарчиком.

Вертлявый, крохотного роста, этот человек буквально исходил жизнерадостностью, стрекотал без умолку, заливаясь смешком, всем лез под ноги и всем улыбался, — сущий воробей средь воронья.

Однажды ни с того, ни с сего, попросился к тюремному попу; вернулся с евангелием, перестал хохотать, глаза сузил и замолчал. Читал евангелие днем, читал ночью. Как-то поутру вышел на прогулку и перед первым попавшимся встал на колени:

— Братец, спаси меня. Гляжу и кровь вижу; спаси меня, вырви глаза мои!

А назавтра при поверке встал позади надзирателя, схватился за рукоять шашки и выдернул ее из ножен:

— Выколи... Выколи глаза.

Его потащили в контору; в конторе Макарчик полез под стол, плакался о могилках; обступили его писаря, зашушукались, позвали начальника. Макарчик попросил лист бумаги, чернил, а начальнику сказал:

— Я говорить буду, а ты пиши.

Рассказал, что в Минске убил купца, в Борисове трех евреев зарезал, в местечке девочку изнасиловал. Поглядел на него начальник и доктора кликнул; вечно-пьяный доктор сунул Макарчику в рот чайную ложку, пощупал язык и безнадежно махнул рукой.

Макарчика отослали в Иркутск на испытание; по дороге он цеплялся за штыки конвойных и молил:

— В глаза мне всади, брат ангельский.

А ночью в деревянной этапке подкопал сгнившее бревно и прополз тенью между двумя часовыми. Только кандалы и нашли.

Из бывших „Иванов" запомнился один старичек — с бородкой клинушком, очень чистенький и аккуратный, с носовым платочком в руке, по виду чахоточный, а про него-то мне и рассказывал учитель, что даже среди „Иванов" он отличался жестокостью и силой.

Запомнился он мне за игрой в лото, в те минуты, когда на его долю выпадало выкрикивать цифры.

Сидел он всегда по-турецки, поджав ноги, ситцевым мешечком, похожим на кисет, потряхивал, каждый раз об'являя:

— Братцы, я честный!

И бойко, скороговоркой выкликивал:

— 22... ангарские уточки; 16... лет молодой, грудастая; 11... барабанных палочек; 88... крендели мои сдобные... Эй, эй, Женька, жульничать? Я, братец, все вижу. Ну,—ну, поговори у меня! Что? Нечего иваниться, живо вздуем. Это тебе, братец, не прежние времена. 90... лет старику, глядит



на девицу и заливается. Туды-сюды... 69; 77... жиды шабаш справляют. 33... забрасывай крючки. 8... девок, один я, куда девки, туда я.

VII.

Все приходит к концу.

Приходит и конец нашей 19-й камере, как и остальным, — конец нашим вольностям, конец нашей свободной жизни.

Правда, высоки были стены Централа и неизменно торчали на вышках часовые, но внутри наша жизнь текла вольно: гуляли, сколько хотели, беспрепятственно переходили из камеры в камеру, кандалов не носили, даже в цветных рубашках щеголяли. В ту „вольную" пору крепко работала наша библиотека; занимались мы усердно, одолевая науку — были доклады, рефераты, далеко за полночь затягивались беседы, споры.

Было сознание: надо ловить каждую свободную минуту, чтоб потом, выйдя на волю, войти в ряды революции в полном вооружении.

И вооружались: кто, начиная с азбуки и четырех правил арифметики, кто кончая Марксом, Лениным, кто до тонкостей изучая военную науку.

И как всегда: сразу. И как всегда, разгром начинается с пустяков.

Приезжает из центра инспектор. Нам об'являют: встать при его приходе, обязательно быть в халатах.

Мы отказываемся.

Входит инспектор, а ни одна душа не встает, — о халатах уже и говорить нечего.

Обструкция полная, неповиновение явное — и несколько часов спустя повальный неожиданный обыск.

Обыск обнаруживает пролом потолка в 19-й камере...

Тотчас же крепко и глухо завинтили все камеры, отменили прогулки, из'яли цветное белье. Многих из нас перевели в одиночный корпус, по одиночкам разбили тех, кто, по мнению начальства, являлись зачинщиками.

А жителей 19-й камеры разбросали по всем углам.

Два анархиста и я попадаем к „лягавым".

Это небольшая камера в самом конце коридора, куда втиснули всех доносчиков и шпионов, так или иначе раскрытых своими товарищами.

В эпоху нашей „вольности", когда все двери были настежь, эта камера оставалась запертой: начальство опасалось расправы с „лягавыми" и охраняло их.

В этой камере российская разноплеменность налицо. Тут и хохол, и мордвин, и еврей, и армянин, и башкир, и белорусс, и бурят.

И всех возрастов люди, начиная от стариков, шамкающих, с трясущимися руками, и кончая юношами лет 19—20.

Толчея невообразимая — и гам, гам, неподающийся описанию. Каждый бубнит по-своему, каждый отвратительно, хлестко ругается по-своему — и все вместе, общими усилиями на каждом шагу поминают мать, христа, бога.

Потом, впоследствии, мне пришлось слышать, как ругаются матросы в Генуе, грузчики в Одессе, золоторотцы в Перми, на пристани камской, как ругаются раненые солдаты-греки в Салониках и неаполитанские нищие.

Но все это изысканная речь в сравнении с руготней в „лягавой" Александровского Централа.

Мои товарищи и я — мы очутились во вражеском лагере.

Нет, не только во вражеском; враги, — это уже не так страшно, с врагами можно бороться, с врагами можно вступать в переговоры, — в зверином лагере.

И начались тяжелые дни — дни, когда надо быть начеку утром, начеку ночью.

Нет уверенности, что ночью тебя не придушат; нет уверенности, что днем, при солнце, на глазах у всех тебя не огреют сзади, по затылку тяжелой табуреткой.

Все время надо разговаривать между собой шопотом, ибо кругом десятки внимательных, настороженных ушей.

Мы кое-как уместились в углу, на полу.

Не сговариваясь, охраняем друг друга, ни на одну минуту не расстаемся.

И, находясь среди зверей, мы в то же время отрезаны от всех остальных товарищей — мы не знаем, что по ту сторону двери, что происходит там — в этом длинном темном коридоре.

На третий день чьи-то дружеские губы шепнули нам, в волчек, что пока все еще идет перетасовка.

А на четвертый, один за другим прогремели четыре выстрела.

Мы кинулись к двери, замерли у волчка...

Потом уже узнали все: прибыла новая партия, поместили ее временно в 19-ую камеру, уже приведенную в порядок. Из этой новой партии два товарища подошли к окну, один веревочку вниз, во двор спустил — армянину, который пирожками торговал — спустил, чтоб пирожок подцепить, а часовой с вышки пальнул.

И в результате: двое убитых наповал.

Тюрьма всколыхнулась, загудела, завыла.

А мы трое, втиснутые в звериную кучу „лягавых“ нечеловеческих масок, остались одни, совсем одни, предоставленные самим себе. Беспомощные, как дети: впереди — двери, крепкие, не сдвинуть их, не разбить; позади — шпионы, доносчики, двойные, тройные — враги.

Была одна радость в тогдашней жизни среди „лягавых“ — это улучшить минутку, придвинуться к окну, заглянуть во двор, поглядеть на живых людей.

Прорвался к окну, глянул: опустел двор, точно железным ветром сдунуло всех. А на солнце по старому блестела вода канавки и по-прежнему за прачешной горел крест острожной церкви, и мне из окна шпионской камеры он казался прозрачным, похожим на две скрещенные золотые паутинки.

VIII.

Старый, бывалый каторжанин рассказывает о былом, рассказывает о горе каторжанина, о мытарствах — и всегда неизменно добавляет:

— Эх, это что — ерунда! А вот „колесуха“! Вот там запоешь!

К какому-нибудь начальнику тюрьмы обращаются с теми или иными заявлениями — и слышат в ответ:

— Так-с, вы с претензиями? А на „колесухе“ вы еще не были? Да-с, вот там попробуйте-ка протестовать.

В воскресенье подают кусок мяса — уголовный смакует и радуется:

— Благодать, это тебе не „колесуха“.

Бывший „Иван“ ссорится с кем-нибудь из мелкоты и орет:

— Мразь! Да я тебя вдрызг! Да я на тебя паровозом! Был ты на „колесухе“? То-то! А еще лезешь, на меня-то!

Мы уже давно знаем: „колесуха“ это амурская колесная дорога, что прокладывается между Хабаровском и Благовещенском.

До 1905 года на колесуху посылали только уголовных, а с пятого года стали направлять туда и политических.

В верхах сочли это, повидимому, разумным и целесообразным — и от одиночек перешли к десяткам, — и поплелись на „колесуху“ рабочие, студенты, учителя, статистики...

Быстро политические заполнили „колесуху“; к длинной цепи беспрерывных страданий прибавилось еще одно новое звено.

Когда мы слушали рассказы о „колесухе“, о порядках ее — мы (как ни как, а на своем коротком каторжном пути виды перевидавшие) все-таки не верили.

На наши довольно скептические замечания нам отвечали:

— Ладно. Увидите.

И мы увидели.

Набегают, шумят и белую пену швыряют на берег темносиние воды Байкала.

Огромный он, берегов не видать, а мы по краю скользим: то ныряем в темноту туннелей, то вновь на свет выползаем.

За решеткой ширь и простор: не оторваться от окна, — если бы туда!

А ухо, цепкое ухо каторжанина, все прислушивается к разговору вокруг: речь идет о Лебедеве, начальнике сретенского конвоя, а мы как раз к Сретенску приближаемся.

3*

Слушаешь и не знаешь: правду говорят или, по старой тюремной привычке, привирают.

Убеждаешься на опыте. Сам становишься об'ектом лебедевского обращения, сам видишь, как соседа твоего, старика шестидесяти лет, ведут пороть за сокрытую осьмушку махорки, сам слышишь, как лязгают зубы онемевшего арестанта под лебедевским кулаком.

А какая колоритная фигура для писателя-бытовика, какой благодарный материал для лепки человека-зверя: одна улыбочка чего стоит, одни брови как многоречивы. Всю партию обжигает его хлесткий, звонкий окрик:

— Шапки долой! Смирно!

Шелест — сотни рук одним взмахом поднимаются, сотни шапок слетают одним мигом — и горе тому, кто зазевался, кто не успел: лебедевский кулак сметает несчастную шапку пушинкой, а неповоротливый хозяин валится на земь, точно по ногам бревном саданули.

Ни звука, ни движения: вся партия замирает, точно застыла в проруби.

И, замерев, должна, обязана выслушать речь начальника.

Он любит поговорить — и говорит красно: о внутренних врагах, о жидах, о благости самодержавия, о прелести дисциплины.

А за речью обход по рядам: блестят новенькие сапоги, мундир в обтяжку, брови начеку.

А за речью добрый совет сознаться откровенно, у кого распилены кандалы, но охотников на откровенность мало.

И выкрикивает Лебедев.

— Конвоиру, нашедшему распиленные кандалы 25 копеек за доблестную службу; у кого найдут—25 розог с того конца, где...

Гонят к парому.

На пароме вторичный осмотр и вторичное напутствие Лебедева: опять речь о мерзавцах, восстающих против бога и царя, и снова зоркий глаз тщательно шмыгает по лицам, по ногам.

У кого-то халат небрежно застегнут.

Лебедев бьет по зубам и идет дальше, — идет враскоряку, плечистый, грузный.

И опять та же беспредельная гнетущая тишина, только чуть-чуть плещется Шилка.

Паром тронулся — плывем, плывем вместе с лошадьми, с телегами — и вот уже рядом баржа, а впереди ее маленький буксирный пароходик, грязный, закопченный, мало доверия внушающий. Когда гудит — сам весь трясется и порой кажется, что вот сейчас он подпрыгнет разок и ко дну пойдет.

А баржа громадная, неуклюжая, почему-то желтым выкрашена и наверху у нее на палубе железная клетка.

Для кого она? Для людей? Для зверья?

А минут через пятнадцать мы уже в ней: поднимаемся по трапу, гуськом.

В клетке третий по счету обыск — классический: пылинки не оставляют, только видишь, как летят за борт папиросы, мундштуки, спички, карандаши, записки — все в воду, все Шилке, ничего — живым людям.

Посреди клетки люк, точно вход в пещеру; заглянешь туда — темень и только бьет в нос едкий запах кэты.

Вчера баржа привезла кэту, сегодня везет нас, послезавтра повезет деготь, потом снова других каторжан — чего-чего, а этого добра не мало, — затем опять кэту. Неуклонный круговорот!

Лезем вниз — наглухо завинчены иллюминаторы, на полу до щиколоток грязь, по стенам мокрая охра, сверху давит низкий бурный потолок.

Мы в трюме баржи, скупой свет, дышать нечем.

Внезапный грохот: это летят сверху наши мешки; чьи-то ноги гуляют по твоей спине, чья-то голова меж твоих ног. Наконец, разобрались, теперь только руготня идет, меж своими.

— Эй, там потише! — опускают крышку люка.

Мы заперты.

Едва уловимый слабый гудок пароходишка; баржа трещит, точно упирается и двинуться с места не хочет: один толчек — скрипят стенки, другой толчек — накренились иллюминаторы,

Мы плывем, плывем к „колесухе“ — жадно прильнув к иллюминатору, не отрываясь, глядишь как плывет и уплывает берег.

В деревянном плену, где запах охры спорит с запахом кэты, а человеческий пот—с кэтой, густо, как в муравейнике. Но люди-муравьи злы, обидчивы, недовольны и голодны.

Не весело, когда все сразу орут триста человек; не очень уже гладко, когда всем хочется поудобнее лечь и половчее примостить свой мешок — и немудрено, что то и дело валится на тебя чужой мешок, то и дело толчки в спину.

Плывем к „новой квартире“ на новую жизнь.

Плывем пятый день, и только украдкой видим небо, только случайно глотаем свежий речной воздух.

Синел Амур, высились громады малого Хин-Гана, хорохорился пароходик, шумела вода, потревоженная покатой грудью баржи, а триста живых человек тяжело спали, тускло бодрствовали; нечем было заполнить день длинный, ночь душную.

Пробовали петь — бросили; затеяли игру — прекратили.

Даже о „колесухе“ разговоров нет: ясно, что все истории о ней, слышанные и в Бутырках, и в Алгачах, и в Тобольске, и в Смоленском Централе — правдивы и точны, как протокол; сочинительства нет и в помине.

На 9-й день пароходик подтянул баржу к Пашковской станице.

Уже вечерело и потому пришлось заночевать на берегу: до места работ было верст двадцать.

А пароходишко, высадив нас, отправился дальше, — вниз по Амуру.

Словно потерпевшие крушение, мы остались на берегу.

Запылали костры, заняли свои места часовые, зазвенели котелки, манерки, в чайниках вода забулькала, стали кашу варить. После затхлого трюма хорошо ноги размять. Хоть холодно (сентябрь на дворе), но зато кэтой не дышишь и не видишь над собой осточертелого бурого потолка.

Но не успели мы по настоящему расположиться, как хлынул проливной, обычный для тех мест дождь — амурский

дождь! — и в минуту не стало костров, а с ними и ужина, и чая, и отдыха и тепла...

Мы лежали в воде, промокшие, иззябшие, окоченевшие, а обозленные часовые, проклиная дождь, колесуху и „политику“, кричали нам:

— Не поднимайсь! Смирно лежать!

Всю ночь лил дождь, всю ночь мы не спали, залитые водой, и слушали, как близко шумит угрюмый Амур.

На рассвете нас повели к лагерю; для вещей подвод не дали, сколько мы не возражали, а у каждого из нас мешок больше пуда весу — и с такими мешками на плечах нас погнали, как гонят телят на базар.

Конвойные торопились: в лагере ждали их сухие палатки, горячий ужин, — гнали нас вовсю.

Не действовали окрики — работали прикладами. Люди спотыкались и падали, но конвойные прикладами поднимали их; задние напирали на передних, слабые цеплялись за более сильных, один у другого висел на плечах.

Гикали конвоиры.

Приклады гуляли по плечам, свисали мокрые халаты, хлюпала грязь, дождь хлестал.

В пути ни одного привала:

— Эй! Эй!

Конвойные налетают сзади, с боков и, ошалев, мчится жалкая истерзанная „кобылка“.

Когда забелели палатки — надзиратели встретили нас зуботычинами: таков был обычай встречать каждую новую партию — кулаком в грудь или в лицо и счет:

— Первый, второй, третий.

Мы пришли на колесуху.

IX.

Дальнейшее, после первой встречи, в полной согласованности с началом, а конец венчает его: „колесуха“ не обманула, „колесуха“ не солгала устами сотен каторжников, разбросанных по всей Российской империи.

Круг, начавшийся в маленьком польском городке, вбирает в себя новое звено — „колесуху“ — и кто знает: быть может, это звено будет последним, окончательным, тем мертвым звеном, каким замыкается жизнь, живая жизнь.

Ибо на „колесухе“ живой жизни нет; взамен безвыходность, отчаянье.

Как нет живых людей, а есть ходячие трупы, как нет вообще людей, а только номера, манекены с ярлыками: уголовный, политик, бывший студент, бывший рабочий, бывший агроном.

На „колесухе“ не говорят, а шепчутся. На „колесухе“ не спят, а тяжко дремлют с готовностью в любую минуту вскочить, вытянуться в струнку.

На „колесухе“ не умываются, а чешутся. На „колесухе“ не едят, а торопливо, обжигаясь, глотают.

На „колесухе“ нет ни норм, ни закона: закон в руках любимого разнузданного надзирателя, унтера.

Сегодня закон один, завтра — другой; в зависимости от того, как поел надзиратель или часовой, как он выспался.

На „колесухе“ единения среди каторжан нет: каждый дрожит за свою шкуру и чужая боль ему нипочем; в команде 20—25 политических и они искусно вкраплены в уголовную гущу.

На „колесухе“ всякая попытка апеллировать к закону, к человеческому чувству заранее бесплодна: над „колесухой“ царит одно: „хочу“ — хочу надзирателя, конвоира, техника, начальника.

В 1907 году на амурской колесной дороге нравы и обычаи американских плантаций времен рабовладельчества, плантаторы с фамилиями: Карпов, Сидоров, Лобанчук; белые рабы — под серыми куртками, вместо американских лесов — амурские сопки и болота. Там кнут — здесь приклад, и там и тут — плети.

И еще: мошкара, — мелкая, злющая, тучами облепляющая лицо, руки, ноги.

Мы живем в палатках, дырявых и грязных, куда легко и беспрепятственно проникает дождь, заглядывает ветер, первые ранние снежинки.

Когда ветер злится, вся палатка лихорадочно трясется: вот-вот опрокинется, а мы под полотнищем беспомощны.

Спим мы на грубо сколоченных козлах; не только тюфяков, но и соломы нет: потому ночью шинель — и подстилка и одеяло.

Мы не одни: у нас и гости водятся, — ужи приползают, греются.

Сначала не по себе, а потом привыкаешь: ничего, тварь безвредная, ведет себя прилично и ничего не требует.

Наш рабочий день начинается рано: в 4 часа утра нас выгоняют на работу.

Чуть-чуть светает, когда мы двумя длинными шеренгами выстраиваемся вдоль палаток. Перед нами темный лес, за нами — сопки, сбоку — топь, неподалеку Амур, а за Амуром Китай, свобода, воля!

Но — близок локоть, а не укусишь.

Мы в рваных овшивевших рубахах, многие из нас босиком, а утро холодное, по сопкам ползет туман, от леса тянет сыростью — дрожим, ежимся, ждем команды.

Из крайней палатки выходит старший:

— Смирно!

Шеренги замирают.

— Первый... второй... третий...

Солдаты вскидывают винтовки, мы — лопаты, топоры и десятками выходим на дорогу.

Десяток за десятком шлепает по грязи, десяток за десятком отбивает версты, а их не мало: 12 верст надо пройти, чтоб добраться до участка, и те же 12 верст обратно, когда погонят домой.

Лагерь перемещается, обычно, каждые 15 верст. Это происходит, приблизительно, раз в три месяца. Когда участок в пятнадцать верст закончен, — лагерь снимается с места: сворачиваются палатки, грузится солдатское и начальническое добро и лагерь переезжает.

Пока устраиваются на новом месте, пока расчищают поляну для стоянки, проходит три-четыре дня, и арестантам на эти дни на руки выдается вся провизия, хотя имеются

для этого телеги, хотя солдатская кухня со всем провиантом грузится на колеса.

И вот каждому десятку приходится тащить на себе 10—15 лишних пудов (кроме лопат, топоров, одежды), верст пятнадцать.

Не мудрено, что нередко десятки бросают свою провизию, оставляя лишь по куску хлеба, предпочитая голодать на новом месте до окончательного устройства.

На работу мы выходили натощак, только на месте уж пьем чай — в каждом десятке свой кашевар; расторопен кашевар — быстро готов чай (водица, чуть окрашенная), неловок — до полудня остаемся без горячего.

В дождь, а он на Амуре осенью гость почти неизменный, трудно костер разжечь: умудрился, наконец, запалил, а тут хлынуло гуще — и поминай как звали; проклинаешь дождь и опять за опостылую лопату.

Мы прокладываем колесную дорогу—по обычному: шоссе.

Кому она нужна — неизвестно, для чего она России — неведомо. Технический персонал безграмотен — это даже нам, не специалистам, бросается в глаза; руководства — никакого; указаний — и в помине нет.

Роем канавы, режем дерн, возим песок, дробим щебень, прорубаем тайгу, тянем бревна, — все, как полагается. Но работаем сослепу, не знаем толком, годна ли работа, лишь бы урок был закончен во время.

И дорогу мы прокладываем не по сухим местам, не в прямом направлении, а обходом, по болотам, болота предварительно не высушив, вопреки здравому смыслу, но зато на благо того, кто руководит постройкой и на каждой лишней версте богатеет.

Лишних верст набирается не мало: болот, сколько угодно, а прямой путь сокращает, потому он в загоне, потому идет дорога зигзагами.

А каждая новая верста прибыльна: выписываются фантастические цифры предварительных расходов по осушке, не выдается наше грошевое жалование (около 10 копеек в день на душу, а нас 300 душ — вот в день и набегает 30 рублей), полагающаяся нам одежда (верхняя, нижняя,

обувь) тоже остается в кармане, вместо фунта мяса получаем половину, взамен 3-х фунтов хлеба — два.

И понятно, что начальство не торопится, с особенным удовольствием загибает 3—4-х верстные крюки, а каждый такой крюк на неделю затягивает работу.

А тут еще и сама природа приходит на помощь: то вода затопит участок, то насыпь после дождя сползет вниз, то мостик провалится. Глядишь, заново надо работать, еще на добрую неделю поправки да починки.

Мы строили дорогу, ненавидя ее; мы работали из-под палки, мы знали, что дорога точно нарочно придумана для издевательства над нами, мы чувствовали, от первого до последнего, всю ее бессмысленность, мы знали, что ни один обоз никогда не пройдет по ней.

Мы ненавидели ее — она мстила нам болотными испарениями, мошкарой, дождями, лихорадкой.

Мы не боялись труда, — но труд на колесной дороге не был трудом, а пыткой, — нудной, утонченной.

От ближайшего жилого места 50 — 60 верст, вокруг — сопки, тайга непроходимая — и что хотели, то и делали с нами наши надсмотрщики. Конвой, как на подбор: зверь на звере.

Сами пасынки в своем роде (штрафные из полков), они тоже терпели от „колесухи": и им, как и нам, приходилось ежедневно отмеривать по 24 версты, и они мокли под дождем.

Но винить во всем они винили нас. Это формулировалось просто, несложно: не будь каторжан, не было бы „колесухи".

Глухая стена: ничем и никак не пробить — и каждый конвоир мстил каждому из нас, в любую минуту.

Мы были в его руках; его окружали тайга и болота; нас — болота, тайга и люди-звери.

X.

Работали мы все не в одном месте: для предупреждения беспорядков создавали отдельные участки, а нас разбивали на десятки.

И делали это умело: по одному политическому на десять уголовных, на случай побега обязав всех круговой

порукой — и девять уголовных следили за десятым, политическим, не хуже конвоира.

Куда и как убежишь?

По прямой дороге нельзя: позади другие команды, казаки из станиц. По сопкам пробираться — обратно к старому месту вернешься: обманчивы сопки, кружишь, кружишь по ним, будто все дальше и дальше уходишь от проклятого места, а на деле никуда не ушел, все на одном месте топчешься.

Кинуться в тайгу — пропадешь: заведет тайга в такие места, откуда ни пути, ни дороги.

И побеги редки.

Сопки, тайга и — девять уголовных настороже: глаз не спускают с тебя, знают, что в случае побега им придется расплачиваться; убежит один — все равно, все остальные лягут под розги — и друг за другом следят, один другому не доверяет. И все помнят прошлые побеги, и всем памятен поротый десяток, когда один смельчак нашелся и, все презрев, кинулся в тайгу.

В июне бежал матрос Масалков — политический; поймали его тут-же, дали 25 розог и заковали; недель пять работал в кандалах, стоя по колено в воде; били его каждодневно, за малейшую провинность; весь он был в кровоподтеках и ранах. А до него бежал один уголовный, десять дней кружился по сопкам, а на одиннадцатый увидал, как что-то белеет вдали: обрадовался, решил, что на деревню набрел, побежал, радуясь, — уперся в палатки.

Два смельчика — Парахин и Гришин — на глазах конвойных бросились в лес; загремели выстрелы, на помощь прибежали остальные конвоиры. Тут же Парахина и Гришина поймали. Конвоиры выстроились двумя рядами — беглецов провели сквозь строй: Гришин на месте умер, а Парахин вскоре, в околодке.

В конце осени пытался бежать Федя Дрожжин, максималист, но не удалось: поймали и били смертным боем.

Счастливо бежал лишь покойный Алексей Бессель-Виноградов: долго бродил по тайге, не раз бывал на волоске от гибели, но в конце концов на волю выбрался.

(Его перу принадлежит книжка „Через „колесуху“ на волю“, вышедшая отдельным изданием в Париже, в 1912 г.).

Из одного десятка бежал уголовный — Грузинский; остальных выпороли; два раза наказывали, каждый раз по 40 розог.

Так знали мы все: не убежать. Но каждый сумасшедшим взглядом не открывался от тайги — ведь, вот она воля, тут, рядом.

И потому еще страшнее казалась нам „колесуха“. В тюрьме хоть решетки, стены высокие, явственнее грань между неволей и миром вольным, а тут ни стен, ни решеток и все же ты в плену — в плену двойном: конвоя и своих же по десятку.

Тот же Федя Дрожжин говаривал:

— Если не убежим, все сумасшедшим домом кончим.

Когда Парахина и Гришина вели сквозь строй и под прикладами извивалось живое окровавленное тело — мы поняли, что нечего нам в будущем страшиться сумасшедшего дома, ибо он уже налицо.

И теперь, после многих лет, припоминая свою жизнь на „колесухе“, я вижу, что все мы тогда уподоблялись сумасшедшим: то целыми днями молчали, то вдруг беспричинно часами ораторствовали; то работали исступленно, сверх меры, то никакая сила не могла заставить нас шевельнуть лопатой.

А урок давался большой, редкий мог кончить его.

Сегодня десяток рыл канаву в 120 аршин длины, в полтора аршина ширины, три четверти глубины и при этом ещё вырытую землю разбрасывали по насыпи, а назавтра велено набить и перевезти 20 вагонеток щебня, а везти надо за 3—4 версты. То вдруг приказывают на протяжении 900 кв. аршин вырезать правильные четыреугольные куски дерна и тщательно обложить ими дорогу.

Задавалась и другая работа: корчевка — работа почти невыполнимая, — вырубить десятка полтора об‘емистых деревьев, распилить, а почву расчистить от корней. На корчевке и самые сильные падали.

Сахалинец Рогачев, Донька, человек в два обхвата, некогда бежавший с Сахалина, смуглый красавец, широкоплечий и могучий, как сохатый, не раз ложился на земь в бессилии.

На корчевке во всю гулял приклад, на корчевке кровью исходили люди.

А резка дерна?—Режешь, поднимаешь мокрые четырехугольные пласты, а снизу тучей поднимается мошкара, слепит глаза, впивается в губы, в щеки. Полагались сетки предохранительные, но мы ни разу их не видели; могли только тем утешиться, что где-то в Питере было приказано выдавать. Роешь канаву, вода по колено; неделю над канавами поработаешь, — и уже по ночам не спишь от судороги.

Щебень дробишь, грузишь в тачки, подвозя к вагонеткам, а тачки сломанные. Говорили старшему надзирателю Гвоздеву, посмелев, попросили заменить новыми, а тот коротко ответил:

— На то и каторга, чтоб тачки были сломанные, с целыми немудрено.

Остались при старых: спотыкались, отдавливали себе пальцы.

Дождь ли, жара ли,—все равно: работа продолжается.

Одно лето жара достигала 40°,—все-таки работали, хотя ежедневно привозили на тачке двух-трех, свалившихся от солнечного удара.

Однажды фельдшер не поверил, решил, что арестант притворяется и стал колоть иголками: проверить хотел.

Доктора нет; по положению таковой числится, но от нас за тридевять земель. При нас помощники его: два фельдшера. Один из них порядочный человек, даже порой явные поблажки делает, но он неизменно пьян и чаще всего, где-то у себя в палатке храпит.

Другой трезв, как квакер, но подл до гадливости; бывший казак, за дезертирство получил четыре года, подал прошение „на высочайшее имя“ — и четыре года крепости заменили обязательством прослужить пять лет фельдшером на колесной дороге.

Политических он ненавидел, уголовных под шумок уговаривал бить „политику“, больных-политических он не признавал: по его мнению „политики“ притворялись и, кто бы ни являлся к нему, он неизменно отмечал:

— Здоров.

В приемной он одной и той же кисточкой смазывал сифилитические язвы и простые нарывы; это он, не поверив в солнечный удар, колол арестанта иголками.

Из „высшего“ начальства мы знали начальника команды Кнохта и техника Янца—второй бывший офицер, отбывший каторгу за убийство в запальчивости. Янц рукоприкладствовал, Кнохт — „выражался“, виртуозно, мастерски, особенно по адресу политического и читал им нравоучения.

Однажды ему пожаловались, что денег не выдают, что сахару нет. Он только улыбнулся:

— Я сам пью без сахару.

Каким-то чудом к одному товарищу прибыла посылка из дому.

Кнохт вызвал товарища к себе, при нем вскрыл посылку, велел проверить, все ли в наличности по принимаемому списку. Среди вещей была карточка фотографическая.

— Это кто?—спрашивает Кнохт.

— Знакомая.

— Хорошенькая,—замечает Кнохт—и рвет карточку на части. Вещи остались в конторе.

— Ты демократ,—сказал Кнохт.—Тебе тонкого белья и носовых платков не надо.

А конвойные,— конвойные били арестантов: били днем, утром, ночью. Били за то, что ты еврей, били за очки, за длинные волосы.

— А, забастовщик!

Били за чистую рубаху, били, когда шли на работу, с работы. Били за недоконченный урок, за лопату, не во время поднятую, за то, что поскользнулся в грязи, не так быстро побежал, не так скоро выполнил приказанье.

Били ночью за громкий разговор в палатке, за просьбу разрешить выйти—как у нас говорили—„до ветру“.

Вот:

Ночь, тишина. Выходишь из палатки, кричишь:

— Господин часовой, позвольте „до ветру“.

— Иди!—раздается из темноты.

Бредешь к параше, а не успел подойти—летишь лицом книзу: получил прикладом по затылку — оказывается, что конвой забавляется: „иди“,—кричит не передний конвойный, разрешение которого требуется, а боковой; передний бьет.

Как-то в октябре (уже по утру поляна изморозью белела) старикашка один вышел из палатки, попросился, а конвоир не пускает:

— Попляши,—говорит.—А то не пущу.

Старикашка шмыгнул носом и стал плясать.

В том же октябре некто Абдышев, чахоточный армянин, тоже попросился у часового,—часовой разрешил. А когда Абдышев мимоходом заглянул в чужую палатку, часовой Кравченко накинулся на него, прикладом повалил на землю и сломал ему два ребра.

Начальник конвоя, когда ему отрапортовал по утру старший, одобрил Кравченко:

— Плохо, что сломал только два ребра, но молодец, верен присяге.

Политического Гуткина конвоир избил до потери сознания за отказ продать подушку за 20 копеек.

Другого надзиратель при утренней поверке бил рукояткой револьвера за противозаконный поступок: арестант, стоя в рядах, закурил. Избивая его, надзиратель гаркнул конвойным:

— А ну-ка, пощупайте его!

Лениво отозвался один:

— Не стоит, больно щупленький.

Больного Хохадзе, не вышедшего на раскомандировку, надзиратель вытащил из палатки за ноги и велел ему встать. Когда Хохадзе встал, надзиратель ударом каблука в живот повалил его, потом кликнул конвоира и велел погнать Хохадзе на работу. Почти на четвереньках Хохадзе кое-как проплелся 12 верст, а в конце участка потерял сознание; окатили его водой и заставили рыть очередную канаву.

В какой-то двунадесятый праздник, когда работу отменили, конвойные, заскучав, поймали собаку (пристала она к возчикам провианта) и забавы ради переломили ей лапы, а когда она завизжала, выкопали яму, и зарыли ее живой. Потом плясали, играли на гармошке и пели:

Акулина-мать собиралась умирать...

XI.

Тайга, болота, приклады и кулаки, сырость и голод, непомерная работа и сознание безнадежности, мошкара и вода по колено, рубахи с паразитами и голые нары, розги и издевательства—и так понятно, что люди шли к избавлению окольными путями: рубили пальцы, заражали себя, пили настойку из махорки, симулировали сумасшествие, растравляли раны,—лишь бы отправили в тюрьму, лишь бы уйти с „колесухи“.

На моих глазах один политический острой лопатой ударил себя по ноге, отрезав полпятки; несли его, окровавленного, а другие глядели с завистью:

— Вот... счастливец... Отправят в тюрьму.

Уголовный—молодой армянин, когда катилась вагонетка, подложил под колесо руку; даже не вскрикнул, только скривился и, молча, стал оседать. Год спустя мы встретились на этапе, по дороге в Нерчинскую каторгу: он шел на поселение—больной, безрукий.

Мой сосед по нарам ночью под кожу ноги продевал красную толстую шерстяную нитку, на всю ночь оставляя ее; нога пухла, гноилась, а он в ожидании отправки светлел.

Юноша лет двадцати, порывистый, жизнеупорный в тюрьме, говорил мне на работе вяло и тускло:

— Я не могу больше. Вчера я десять раз получил прикладом. Сегодня восемь. Я не могу больше. Я с ума сойду или подложу пальцы под вагонетку.

Я следил за ним; когда подкатывалась вагонетка, я отворачивался. Но не пришлось ему воспользоваться вагонеткой: поднимая тяжелое бревно, надорвался...

А Малыгин (уголовный, экспроприатор) тот просто: взял топор и отсек большой палец руки—тут же, у всех на глазах, — руку положил на сруб, точно говядину, и ударил быстро.

Каждый вечер, по возвращении с работы, нас выстраивали перед деревянным крестом (стоял он перед палатками—большой, некрашенный) и заставляли петь „спаси, господи"

Немец ли ты, еврей, магометанин — все равно: стой и пой, иначе опять тот же приклад.

Вечер зыбкий и бледный, десяток за десятком тянутся к кресту, выстраиваются и под темнеющим далеким небом несется хриплое, нестройное пение—и те, кто поют, дрожат от сырости и шатаются от усталости, а те, кто заставляет петь, покрикивают:

— Громче! Сволочи!

Разносится окрест:

— Спаси, господи, люди твоя...

Звезда мелькнула, другая, мерцают дальние огни кухни, светится палатка техника Янца, гудит угрюмая тайга.

— Бла-го-верному им-пе-е-ратору...

Кто-то крестится, кто-то вздохнул тяжело, кто-то за моей спиной протянул тоскливо:

— Господи!

Какая неизбывная жуть в этом протяжном глухом шопоте.

— Благослови достояние твое...

Нет ни благословения, ни милости, ни надежды.

А в палатке толчея, злые окрики, шипящая злоба—все люди и всем тяжко—и говоришь, твердишь самому себе:

— Держись, держись! Не поддавайся ни тайге, ни туману, ни осенним темным снам.

После молитвы скудный ужин, наспех, а будь он даже лукулловским—все равно не до него: лечь, скорее натянуть халат на голову и уйти—от палаток, от прелой соломы, от прикладов, от скрипа тачек, от мокрого дерна, от ржавых вагонеток, от груды щебня.

И от людей.

Да, и от людей, даже своих, похожих на все, на все что угодно, но только не на человека, даже если эти люди любят

Пушкина или Тургенева и знают, все величие слова „революция“.

На „колесухе“ нет политических и уголовных, первых не отличишь от вторых, — есть только измученные, издерганные ходячие трупы.

Нервы у всех обнажены; ссоры часты, как дождь. Мелочь пустяшная является поводом к брани: мы ругаемся зверски.

Грязны мы невероятно: месяцами не меняем белья, воюем безостановочно со вшами и избавиться от них не можем.

Ночью палатки словно барак тифозный: кто бредит во сне, кто вскрикивает; никто спокойно не спит: мечутся, разбрасывают руки и ноги, ворочаются, тяжело дышут, хрипят, а вставая на работу, кашляют нудно, надрывно и гнутся.

Мы все простужены,—живем в воде, работаем в воде и стынем в воде, от нее не уйдешь; она пробирается в палатки, подползает к тебе, когда остервенело тычешь лопатой.

На работе мы не отдыхаем: некогда, каждый час дорог, а в любом десятке есть нерадивые, больные, слабые и ленивые, и за тех и за других надо равно расплачиваться.

На работе мы не только не поем, но даже редко разговариваем, а когда уж невтерпеж—ругаемся.

Мы ненавидим свою работу, как она ненавидит нас; она ежеминутно подставляет нам ножку: то щебень не поддается, то канаву прорезает каменная жила, то вагонетка рвется из рук и по откосу мчится вниз.

Мы скверные работники, но и руководители наши хороши: техник Янц путает север с западом, надсмотрщики не умеют обращаться с инструментами, а начальник Кнохт озабочен одним: подольше бы строился его участок.

За кнохтовские финансовые комбинации мы расплачиваемся суставным ревматизмом, ранами (когда босой ногой попадаешь на рельсы, водой скрытые), кровохарканьем, цынгой.

Однажды мне повезло: я встретил среди конвойных земляка — разговорились случайно, когда я в солдатских палатках пол устилал еловыми ветками.

И—чудо!—земляк не угощает меня прикладом, даже покурить дает, а это неиз'яснимое блаженство, ведь мы курим сушеные листья, мелко накрошенную кору.

Мой земляк по Волге даже и не подозревает, как он осчастливил меня. Бедняга, он в скором времени угодил под арест: правда, не из-за меня—за винтовку нечищенную.

Как-то меня по болезни назначили на домашнюю работу — она считалась более легкой, а в круг ее входило втечение дня: раз пять сходить в лес (за версту от лагеря), нарубить, наколоть и притащить дрова на потребу солдатской кухни—это до обеда; после обеда—наполнить сорокаведерную бочку ключевой водой, а вода далеко, идя, прыгаешь с кочки на кочку; дается два ведра, а коромысла нет, проволочная ручка режет ладонь.

Наполнил ведра, идешь, но не попал на кочку, поскользнулся, влип в болото, ведра опрокинулись—иди обратно.

Земляк мой выбирал деревья потоньше, а на кочках даже помогал держаться и не злился, когда я отдыхал на берегу Зеи.

Памятна эта Зея, особенно приток ее один крохотный,—забыл, как он назывался.

Был он, как все речушки: узкий, спокойный, в жару до дна обнаженный...

К концу осени дней пять дождь хлестал беспрерывно, точно наверху миллион бочек опрокинули — и приток этот взбесился: встал на дыбы, сорвал мост — как раз на полпути к месту работы и на версты две раскинулся, забурлил.

Сорван мост, а на работу шагать надо—и ежедневно мы этот приток переходили вброд, раздеваясь догола, и не обсохнув, брались за лопаты, за тачки. Продолжалось это дней двенадцать—в последние осенние дни, когда к вечеру трава инеем покрывалась.

„Колесуха" воистину стала сумасшедшим домом.

Сбрасываются штаны и рубахи, лопаты болтаются на оголенных плечах.

Робко пробуешь ногой воду—холодно, кровь стынет, но команда не умолкает:

— Марш! Марш!

Вода уже до колен, уже выше... Мой сосед поскользнулся под водой, попал ногой на рельсу, порезал ногу и стонет. Перед тобой мелко дрожит чья-то посиневшая худая спина. Близко старик-уголовный бормочет:

— Иисусе христе... Иисусе христе...

Растянулась цепь из голых плеч, из голых спин... Все жалки, все маленькие. Все, все!

И вдруг хлесткий крик:

— Дорогу! Я—адмирал. Дорогу! мой броненосец плывет! Это студент Р. швыряет в воду халат, тут же ложится на него, машет руками и ногами, гудит, свистит и заливается тоненьким безумным смешком...

Несли его к палаткам на руках; несли и молчали, а вечером у креста пели:

— Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого...

Горел свет в палатках конвойных, шумел дождь.

Ночью сквозь продранные полотнища палаток глянула одна звезда, другая. Был в них привет неумирающего движения, но все живое вокруг дико и мертво.

XII.

Приходит и мой черед: я валюсь с ног.

Попадаю в небольшую инвалидную группу для отправки в каторжную тюрьму.

Снова азиатскую песнь свою поет Амур, снова от Малого Хин-Гана веет простором, но мы уже не на барже, а в трюме частного пассажирского парохода.

Над нами пассажиры: купцы, казачьи офицеры, чиновники, а в третьем классе ловкий владивостокский предприниматель везет японских проституток в Благовещенск.

Когда нас проводят мимо них, я вижу в руках одной японки книжку с портретом Толстого.

Японки изумленно глядят на нашу одежду, кандалы, подбегают к нам, чирикают, машут крохотными ручонками.

Дня три мы едем с удовольствием: прогулка по нижней

палубе, еда довольно сносная. Пассажиры узнают, что в партии несколько человек политических,—нам присылают газеты, книги, мы получаем записку от неизвестного лица:

„Не падайте духом: в России революционное движение растет. Как ваши фамилии? Не хотите ли написать родным,— письма будут отправлены. При сем колбаса, шоколад и карандаши".

Совещаемся: не подвох ли это — и ограничиваемся коротким:

— Спасибо.

А на четвертый день конец удобствам, прогулке по нижней палубе: ночью наши уголовные обнаружили в трюме склад буфетчика.

Умудрились стенку пробуравить, вырезать четырехугольник и вытащить не малое количество бутылок вина.

Перепились немедленно: танцовали, прыгали в тесном трюме, ругались, ссорились.

К нам приставали:

— Пей, ребята!

Отнекивались, отбояривались дипломатическими ухищрениями. Вздумали прекратить попойку, — ничего не вышло: нас было пятеро, а их около полусотни.

Пустые бутылки летели через иллюминаторы в Амур; пили, подставляя шапки, арестантские кружки.

А днем, когда воровство открыли, началась расправа, такая же кошмарная, как ночь пьянства.

Но помню и другое: обратник Мамых надрывался средь общего звериного гула:

— Эй... Политику не тронь! Не тронь политику! Дело наше!.. Эй!..

Оазисом мелькнула Благовещенская тюрьма, тогда еще незавинченная, тогда еще с „конституцией" свободной, переполненная китайцами—чуткими, добрыми, вежливыми.

Мой сожитель по камере, улыбаясь улыбкой добродушной, но для меня все же непостижимо-странной, угощал меня опием и твердил:

— Карашо. Карашо.

И головой покачивал и причмокивал: гляди, мол, сладко заснешь и все забудешь.

И правда: так было — поплыла камера, нары стремглав покатились по откосу, за решеткой раскинулся шар голубой, зазвенели серебряные колокольчики и стая белых больших птиц взметнулась кверху, подхватывая, унося...

„Сладко заснешь—и все забудешь"...

Но краток сон и мимолетно забвение: опять Сретенск, снова Лебедев, и новый путь в Горный-Зерентуй: пеший тракт в триста слишком верст, — со снегом, со стужей, с полуразвалившимися этапками, где печь дымит, где общая камера для женщин и мужчин.

Тут же на глазах семейные сцены: муж жену бьет, жена сопернице в косы впивается. Тут же картеж — игра в три листика, в двадцать одно, где на ставку идет халат казенный, порция мяса, тело вольно следующей за мужем жены.

В Гантимурове уголовный в фурункулах проиграл бушлат свой, а за потерю бушлата — надбавка в лишний год к сроку, — откупиться нечем — и вот загнал свою жену под нары, завесил халатом и всю ночь пускал к ней уголовных, а потом и конвоиров.

Когда утром двинулись дальше,—ее уже везли на санях...

Этапка за этапкой, от дыма к стуже, от стужи опять к дыму,—и все ближе и ближе Горный-Зерентуй.

. . . .

А когда в памяти всплывают белые стены Горного-Зерентуя и решетчатые двери камер, и коридор темный, где в конце его приютилась убогая тюремная церковь, — прежде всего и раньше всего встает передо мной незабываемый образ Егора Сазонова.

Человека, кого—чуткие и грубые, безграмотные и образованные — любовно звали „наш Егор" к кому одинаково тянулись все сердца, с кем даже тюремные и чиновные самодуры не решались говорить повышенным тоном.

А ведь среди них числились такие, как Селиванов, бывший иркутский генерал-губернатор, Забелло — начальник Нерчинского каторжного округа, и убитые впоследствие— Бородулин и Метус.

Тяжелы всегда первые минуты прихода в новую тюрьму.

Даже для того, кто на своем каторжном пути десятки тюрем перевидал и кто бы мог, кажется, привыкнуть.

Как часто та или иная тяжесть этих минут зависит от „старожилов“.

А он бережно и мягко ввел нас в новый круг и также бережно подошел потом к каждому в отдельности,—и каждому сразу стал близким и родным.

Был он тихий и весь, весь прозрачный...

В пятой камере сидел вечник-уголовный, который называл себя анархистом, а паче всего и больше всего любил воевать с надзирателями и играть в карты, проигрывая иногда свои порции мяса на целый месяц вперед.

В дни проигрыша он кирпичем наводил блеск на свои кандалы, так что они сверкали, как серебряные, набрасывал небрежно бушлат на плечи, заламывал ухарски круглую шапку, посвистывая подходил к двери и начинал нежно:

— Надзиратель, подь-ка сюда.

Любил рассказывать, как он, заблудившись в тайге, еще с двумя товарищами укокошил четвертого — татарина, а потом жарил его на углях и ел.

Политических он презирал, называл их мразью. И даже этот человек преклонялся пред Егором.

Егор не был красив; при первой встрече его лицо не поражало—неправильные черты, слегка изогнутый нос.

Сутулый, худой, он говорил, запинаясь. Но какой удивительной улыбкой озарялось это лицо, какие прекрасные глаза, словно изнутри освещенные, глядели на мир тюремный.

Жизнь тюремная, помимо врагов внешних, полна еще врагами внутренними. Люди—не ангелы. И когда 60 человек втискивают в одну камеру, шестьдесят человек без разбора, хотя бы даже об‘единенных одним общим названием „политические“, и велят им вариться в собственном соку, раз навсегда сказав: „о воле, о родине оставь всякую надежду“,— разве мудрено, что тогда исподтишка, незаметно подпольными путями выползают мелкие человеческие страсти?

И разве удивительно, что тогда размножаются тюремные „микробы“ раздора, партийных счетов, раздражения и некрасивой трусливости. И он все время боролся с этими микробами. Не мало сил положил — из тех сил, что уже были подорваны Шлиссельбургом, Акатуем, и нерадостными вестями с родины.

Не мало недоразумений он уладил, не мало столкновений предотвратил.

Но все ли знали, с какой большой болью, с какой скорбью и неизбывной тоской он входил во все эти мелочи?

И разве многие видели, какой болью он горел и в каком огне сгорал.

Его окружали друзья, он многих любил, но он был одинок.

Он спал на одних и тех же нарах со всеми, ел из общего котла, принимал деятельное участие во всех наших собраниях, когда к каждому его слову прислушивались, когда не раз его мудрое (именно: мудрое и чистое) слово уводило с неверного пути.

Я помню его при нашей первой голодовке, когда мы потребовали перевода больной Марии Спиридоновой из Мальцевской каторжной женской тюрьмы в больницу.

Тогда еще камеры днем оставались открытыми — позже, когда подкоп открыли, тюрьму завинтили наглухо, крепко.— Собрание сменялось собранием, галлерейка наверху гудела, точно телеграфная проволока, взад и вперед мчались серые бушлаты, голосовали, выносили резолюции. Сомневающиеся в успехе шушукались по углам, уже кое-где бормотали насчет прихода солдат, создавались течения, группы.

И только он один спокойно слушал, как был спокоен потом, когда на третий день голодовки уже не „кое-кто“, а многие предлагали сдаться.

Он был со всеми и везде, где только требовалась поддержка — и к нему шли, как к источнику бодрости и подлинного человеческого духа.

И все знали: этот выдержит, хотя бы голодовка затянулась на недели.

И все чувствовали: этот сутулый человек вобрал в себя боль всех и за всех.

Я видел его, когда четвертая камера вела смелый подкоп, когда вся тюрьма три месяца жила только одной мыслью:

— Удастся или не удастся?

И первым должен был выйти он; смысл подкопа заключался в бегстве Егора.

Подкоп провалился, как всегда, из-за глупой случайности; еще раз свобода отодвинулась далеко.

Но он первый заговорил о бодрости и о том, что жив и не умирает человеческий дух, даже, когда гибнут все пути к освобождению.

И он доказал это, ночью приняв яд в сознании, что смерть его необходима, что только она может послужить толчком.

И последние его слова были все о той же бодрости...

XIII.

Я пришел в Горный-Зерентуй, когда уже чувствовалось, что „либеральной“ эпохи в жизни горно-зерентуйцев приходит конец.

Ушел, когда уже началась реакция, но зерентуйская трагедия была уже после меня. Весть о смерти Сазонова и других товарищей застала меня не только далеко от Горного-Зерентуя, но и Сибири вообще...

Время, проведенное в Горном-Зерентуе, глубоко запало в душу, и память бережно хранит каждую мелочь тогдашней жизни.

Не было в ней ничего исключительного: жизнь была обычная, с обычными стычками; воевали с начальством, как водится, но до крупных боев не доходило, — они начались уже после моего ухода.

Не обычными были только дни голодовки по поводу Марии Спиридоновой, день получения известия о смерти Гершуни и первые дни приезда нового начальника каторги Забелло, когда мы готовились ко всему, когда над нами повисла угроза порки, когда впервые живые, полные энергии, жажды жизни люди заговорили об отравлении.

Заговорили спокойно, как будто речь шла о прогулке в горы.

Но в этом спокойствии было такое большое внутреннее революционное горение.

Люди горели, сгорали,—а внешне было все спокойно...

Теперь, оглядываясь назад, я вижу, как во многом я ошибался, как неправильно я оценивал тех или иных товарищей...

И это доказывает хотя бы наша голодовка по поводу Марии Спиридоновой.

При первом известии о ее болезни ясно стало всем, что молчать нельзя, что надо требовать ее перевода в нашу больницу (Мальцевская каторжная тюрьма, где находились наши каторжанки, больницы своей не имела).

Мы довели голодовку до конца; мы не избежали раскола в своей среде, но своего добились.

Были минуты, когда казалось, что вот-вот голодовка сорвется, а в нашем тогдашнем положении сорванная голодовка означала не только ухудшение в здоровьи Спиридоновой, но и конец всем нашим вольностям, добытым с таким трудом.

Помню, как гудела галлерейка на втором этаже под нашими быстрыми стремительными шагами, когда мы перебегали с одного этажа на другой, ведя переговоры—камера с камерой—устраивая собрание за собранием.

Помню долгие, длинные митинги и неизбежные резолюции, одна подпирающая другую, одна другую взаимно исключающая.

Гул галлерейки отвечал гулу людских возбужденных голосов.

И был третий гул — гул среди начальствующих лиц, от последнего надзирателя до начальника каторги.

Мы его не слышали, но мы безошибочно улавливали его...

Штопая каждую минуту прорехи в своем коллективе, самым искусным образом связывая тоненькие ниточки, вот-вот готовые порваться, мы с огромным усилием, но все же докончили начатое.

Марию Спиридонову перевели в нашу больницу.

Нам это далось недешево: начавшийся раскол пошел в глубину, и, как подземная вода, крепко расшатал наружную почву.

Потом это сказалось. Потом пришлось немало горьких минут пережить.

Но день переезда Спиридоновой в больницу остался одним из ярких моментов в жизни Горного-Зерентуя.

Запомнился мне и другой день — день, когда до нас дошло известие о смерти Гершуни.

Он был отмечен грандиозным митингом, он был отмечен единодушным решением всех фракций не пройти мимо этого известия.

Он был отмечен еще одним: на следующий день мы очутились в запертых камерах. Перестала гудеть галлерейка, кончились хождения из одной камеры в другую, с одного этажа на другой,—надвинулись черные дни.

Помнится еще и день первого мая—в ту пору, когда мы еще гуляли скопом—митинг во дворе, даже знамя красное (если мне память не изменяет, смастерили из чьей-то красной наволочки), задорные речи в четырехугольнике белых, крепких тюремных стен, возгласы, пение (правда, не очень-то стройное, но вдвойне горячее) и трагикомическое падение с какой-то вышки оратора-большевика, покойного Попова-Свиягина.

Милый доктор поплатился вывихнутой рукой, но, неизменно жизнерадостный, увлекающийся и говорливый, он и тут не унывал, стрекотал потом без умолку, помахивая белой перевязкой.

Правда, эта повязка вскоре перестала быть белой: наш милый доктор, не взирая на профессию свою, хромал по части гигиены и санитарии.

Много лет спустя, в Париже, в парке Мон-Сури, мы вспоминали с ним любовно и митинг наш во дворе Горного-Зерентуя, и стремительное падение вниз посреди речи о международной солидарности пролетариата, о России, которая — придет час — восстанет и сметет все каторжные тюрьмы.

Бедному, милому доктору этой России не пришлось увидать,—ему, который столько лет отдал русской революции: он погиб на чужбине, он умер в годы европейской войны, когда, казалось, мировая реакция смела последние намеки революций.

И еще одно помнится: жуткая, напряженная ночь, когда нас всех поодиночке выводили в коридор из камер, проверяя по статейным спискам, сличая фотографии, когда почти не было сомнений, что эта ночная процедура кончится избиением.

А началось это по следующему поводу.

Ловко, остроумно бежал один политический, бежал в церковный праздник, когда тюремная церковь (она находилась в конце нашего коридора) была переполнена солдатами местного конвоя, бежал, переодевшись конвоиром.

Пять-шесть дней администрация не догадывалась о побеге.

Очень простым способом нам удалось тайну эту сохранить: в камерах (и утром, и вечером) нас проверяли не по фамилиям, а по количеству лиц в каждой камере; между двумя смежными камерами мы разобрали кусок стены, и как только из одной камеры надзиратели, убедившись в точном количестве обитателей, переходили в другую, — в этот короткий промежуток один из товарищей быстро устремлялся к отверстию, пролезал, ложился на нары, укрываясь одеялом, пополняя собой необходимое количество живых душ другой камеры.

Тайну нашу выдали — и ночью нагрянули для проверки.

Администрации необходимо было установить фамилию бежавшего, мы считали необходимым мешать им в этом.

И ночью, когда нас проверяли, мы затеяли долгую и опасную путаницу.

Мы затеяли неслыханную в каторжной тюрьме игру: когда вызывали Петрова,— выходил Семенов; когда выкликали фамилию Таубмана,— отзывался Кравец,— а фотографические карточки в статейном списке твердили о другом.

Тянулась ночная путаница, а кругом стояли конвойные, молча, но в этом молчании была такая крепкая угроза.

Помню, еще до поверки (мы о ней узнали заранее) кто-то из товарищей предложил не более — не менее, как немедленно всем обриться, снять не только волосы, бороды и усы, но даже и брови и таким манером запутать администрацию еще больше.

Обошлись без этого.

Тянулась ночь, тасовались статейные списки, мелькали каторжные фотографические карточки,—и Икс шел за Игрека, а в это время счастливчик-беглец продвигался к Иркутску.

XIV.

Долгие месяцы, проведенные в Горном-Зерентуе, памятны не только по событиям нашей каторжной жизни.

Кроме событий, были еще и люди. Были лица, были определенные индивидуальности, мимо которых равнодушно не пройдешь.

Были фигуры, точно из одного куска сделанные.

Старая истина: только в тюрьме до тонкостей узнаешь человека.

Тюрьма—это такая штука, что до конца, до последнего, вскрывает человека, она на каждом шагу показывает его со всех сторон.

И тот, кто в основе своей трус, как бы ни прятался, как бы ни притворялся, трусость свою обнаружит. И тот, кто смел, кто отважен, кто благороден — тот откроется именно с этой стороны, ибо тюрьма—изумительный скальпель.

Она анатомирует человека до самого крохотного, глубокого нерва, она беспощадна по части психологических фокусов,—все вычурное, надуманное она выводит на чистую воду.

Был среди нас один. Репутация—самая лучшая; прошлое—без пятнышка, в наличности—ум, знания, революционность—вне всякого подозрения. Не человек, а воистину украшение.

Первый раз в тюрьме, восемь или десять лет каторги.

Проходит год, другой—и этот человек оказывается среди тех немногих, что согласились на просьбу царю о помило-

вании и это помилование приняли. И ведь не мальчик, не безбородый юноша, которого можно и не осудить по молодости лет, а человек в летах, зрелый, твердо и уверенно шагающий по земле.

А рядом—худощавая, несуразная фигура, почти комическая, местечкового парня из „черты оседлости", бывшего синагогального служки, анархиста, попавшего на каторгу из-за грошевой экспроприации, чуть ли не в мелочной лавке, где выручка за всю неделю равна двум-трем рублям.

Большая голова на длинной шее, нелепо болтающиеся руки,—руки, которые всегда аккомпанируют словам, а слова смешные, невообразимая смесь, одно слово по-русски, другое по-еврейски, русские слова с еврейскими окончаниями и наоборот.

И день за днем из-под внешне смешной формы проглядывает изумительная человеческая душа, любвеобильная без сантиментальности, преданная до самозабвения и стойкая, как железо.

И когда ночью в камеры врываются по приказанию начальства конвойные и когда вот-вот начнется свалка — этот смешной человек вытаскивает из-под нар полено, прячет его под халат, быстрым движением заслоняет собой своего соседа по нарам—юношу, почти мальчика—своего друга и учителя по части русской грамматики и первых четырех правил арифметики — и ясно без слов, что первый конвойный, который только попробует прикоснуться к этому юноше, немедленно получит поленом по голове.

А на следующий день, когда проносится гроза, он, как ни в чем не бывало, в урочный час подходит к своему соседу-другу-учителю с любимой книгой — „Отверженные" Виктора Гюго.

И, жмурясь от наслаждения, готов слушать часами увлекательную повесть о старом каторжнике Жане Вальжане...

А вот проходит перед моими глазами быстрый, стремительный, весь точно начиненный порохом, Прош Прошьян, поэт, революционер, певец.

Горная птица.

И, связанный, он умел гореть, как никто. Даже черные тюремные дни, бесконечные, жуткие в однообразии стен, решеток, мелочных уколов, не смогли этот огонь засыпать пеплом тюремной повседневности.

Всюду он вносил этот неуемный огонь, будь то протест, грозящий смертью, или игра в лапту на тюремном дворе, или спор о новой повести Андреева „Тьма", или редактирование нашего горно-зерентуйского журнала „Овод", или исполнение армянских народных песен.

Он, по существу безголосый, так передавал армянские песенки, что мигом улетучивались стены и решетки—и вставало над нами пламенное южное солнце и перекатывалось горное эхо.

Мимоходом, налету заполнял страницы нашего журнала „Овод" остроумными стихами и едкими каррикатурами, от которых весьма корчились наши мещане от „политики".

А в часы тюремных каторжных гроз Прошьян являлся хладнокровным стратегом; весь как то собирался, как сжимается стальная пружина, чтоб в нужную минуту стремительно развернуться, четкому, точному разуму подчиняя все.

Пронеслась гроза,—Прош напевает из „Гейши"; пенснэ с'езжает с переносицы, острый нос раздувается—и несется задорная песенка о беззаботном матросе из Нагассаки.

Он умел быть изумительным, преданным товарищем.

Он умел любить — горячо, стойко, внешне почти ни в чем не проявляя своей любви, разве только лишний раз полуобнимет на прогулке, разве только будто небрежно проведет рукой по голове—не то ласкает тебя, не то треплет по-мальчишески.

И он умел работать над книгой—по ночам упорно, настойчиво, доискиваясь, ища, допытываясь.

Как и умел, не очень-то физически крепкий — часами лежать в воде, роясь кротом, когда из четвертой камеры вели подкоп.

Как впоследствии подкапывался под самодержавие, как потом вел подкоп под самую цитадель мировой реакции в Кинтале, чтоб, несколько лет спустя, в октябрьские дни выйти из Смольного Народным Комиссаром Республики Советов.

А вот еще один проходит перед моими глазами—Сидорчук, человек отмеченный роком. Его, почти мальчика, жестоко ударила судьба: на каторгу он пошел, уже испытавший в предверии много горя.

В Житомире он стрелял в погромщика-пристава, при аресте его зверски били—и на каторгу он пришел с черной повязкой—черная повязка вместо глаз: мир, доступный нам всем, для него уменьшился вдвое.

Но я никогда не видел его озлобленным. Правда, он был нередко сумрачен, он мог подолгу и часто молчать, но все же черная повязка не сделала его душу черной, она не встала между ним и жизнью.

И под черной повязкой он видел впереди новую жизнь, и о ней, рожденной революцией, он мечтал страстно, исступленно. Он ждал воли, чтоб вольным, хотя бы и с черной повязкой, ринуться в революционную борьбу.

Он потерял глаз, но не потерял веры.

На каторге самой горячей его привязанностью был Егор Сазонов.

Он окружал Егора вниманием, самым нежным, самым чутким вниманием; он был его сиделкой, его няней, его братом.

Я расстался с Сидорчуком еще до смерти Сазонова, но знаю со слов других, что смерть Егора почти опустошила Сидорчука.

И это легко представить себе, вспомнив, как он любил Сазонова, как много он отдал ему.

Наступил час, когда Сидорчук вырвался на волю; кончился его тяжелый каторжный путь,—впереди лежал новый, путь борьбы.

На некоторое время Сидорчук очутился за границей— с тем, чтоб, отдохнув, хотя бы немного, после каторги, снова вернуться в Россию — и в яркое солнечное утро он, купаясь в Средиземном море, тонет и идет ко дну.

Мы хоронили его в маленькой итальянской деревушке; было много цветов и солнца — всего того, чего он лишен был при жизни; от прежнего только черная повязка...

XV.

В Горном-Зерентуе я пробыл до отправки на поселение.

Горно-Зерентуйская политическая каторга имела своего верного друга—местного тюремного врача Рогалева—друга надежного, друга исключительного, который приходил нам на помощь в самые тяжелые минуты нашего каторжного бытия.

И, как бывает, мы в мелочах нередко злоупотребляли его добротой, но неизменно ровный доктор Рогалев как-то умел принимать эти наши „злоупотребления“ — обычные, человеческие злоупотребления.

На мне, как и на многих других, отразилась его доброта, его чуткость, его совершенно бескорыстное желание помочь политическим, облегчить их каторжную жизнь.

Он умудрился выкопать забытую статью закона о том, что больные каторжане имеют право на сокращение срока. Эта мера до сих пор еще ни разу не применялась к политическим.

И он умудрился не только вытащить на свет ясный эту статью закона, но и протащить ее через все инстанции, создавая, созывая одну врачебную комиссию за другой.

Ему на каждом шагу чинили препятствия, но он не сдавался: на-нет сводили решения одной комиссии—он упорно работал над созывом другой; „обновляли“ состав одной комиссии — он преподносил наизаконнейшие мотивировки другому составу.

8 долгих месяцев тянулась борьба этого тюремного врача с целым синклитом чиновников, начиная от коллежского регистратора и кончая генералами в Чите.

И все-таки он победил.

Горно-Зерентуйские ворота однажды распахнулись, чтоб выпустить первую партию каторжан, идущих на поселение по постановлению комиссии Рогалева.

А за первой партией последовала вторая, за нею третья,—доктор Рогалев вырвал из цепких лап каторги десятки жизней.

Попозже в Чите спохватились, но ушедших уже нельзя было вернуть: свое доктор Рогалев сделал.

С первой партией ушел на поселение и я.

Мы уходили в осенний день. В Сибири иногда осенние дни ярче летних.

Такой день выпал тогда. Золотились сопки, окружавшие Горный-Зерентуй, вольной стрелой уходила шоссейная дорога—белая, просторная, после тюремной духоты—свежий, четкий ветерок звенит в ушах.

А перед нами зерентуйские окна — и в решетках сотни рук.

Это прощаются с нами, это машут нам—они, оставшиеся.

Глядишь—и нет сил оторваться. Знаешь, что вот сейчас тракт примет тебя, уведет навсегда от решеток — и двойственное чувство пригибает тебя к земле: поет в тебе радость невольная: „ухожу, ухожу", и плачет в тебе боль за тех, кто остался, кому не шагать по широкой дороге, кому еще годы, целые годы, биться в четырех стенах...

Одно сознание отравляет другое. И долго не покидает тебя чувство стыда.

Но жизнь берет свое, ах, да и годы берут свое: в двадцать один год трудно отдаваться двойственному чувству, когда позади тебя каторжная тюрьма, а впереди уже совершенно определенный и реальный факт: полная свобода не за горами.

Снова на пути Байкал. Но теперь глядишь на него по иному: знаешь, что он особенным препятствием на пути к воле не явится, не трудно и Байкал перемахнуть, раз не будет на тебе каторжной куртки, раз зашевелится в твоем кармане паспорт на имя какого-нибудь Петрова или Макарова.

Вот уж воистину сбываются теперь слова старой песни:

Шилка и Нерчинск не страшны теперь...

И эта же песня звенела в ушах, звенела и разливалась, когда несколько месяцев спустя два моих товарища и я уносились на бурятских крепких лошадях.

Незабываемая ночная бешеная скачка, когда версты летели, как в сказке, когда снежные комья из-под копыт градом били тебя по лицу и когда сосед, привстав, гикал по-звериному, ошалев от ветра, от снежной ночи, от воли.

Под гиканье неслись бурятские лошадки напролом. И только на Селенге очухались, когда лед провалился под санями.

Очухались и мы: вода в зимнюю ночь удивительно отрезвляющее средство.

За Селенгой, чудом спасшись от купанья в Селенге, а, быть может, и от вечного успокоения на ее дне, мы уже более спокойно продолжали свой путь.

В одной из деревень третьего товарища нашего узнал местный староста.

Стало весьма неприятно и весьма невкусно: бурятских лошадок и в помине нет, и некому нас умчать.

Помню: изба, вечер за окном, на печи тулупы, валенки, пахнет махоркой и пахнет арестом, а до станции, до желанной станции железной дороги рукой подать.

И—одного товарища мы оставляем в избе для отвода глаз, а другой, узнанный, и я—мы оба, задыхаясь, спотыкаясь, хрипя, бежим к станции и мешками вваливаемся в первый попавшийся товарный вагон, прячемся и с неописуемой радостью слышим, как начинают тарахтеть вагоны, стучать колеса.

И только одна живая мысль: что будет с тем, с третьим, оставшимся? Ему, третьему, я посвящаю эту книжку, ему, моему брату и другу, и спутнику во всех моих дальнейших скитаниях.

Только год спустя я увидел его в Париже, на улице St. Michel, так далеко от всяких сибирских старост.

В товарном вагоне мы добрались до большой узловой станции — и пересели в пассажирский: товарищ мой купчиком сибирским, орудующим мехами, я—его приказчиком.

В Иркутске мы расстались. Я поехал вперед — на Урал за деньгами, он остался ждать, а свела нас судьба только через несколько лет: я в Париже готовился к поездке в Россию, он возращался в Париж, отбыв вторичную каторгу, вторично бежав с поселения.

Шесть недель спустя угрюмый литовец вез меня к немецкой границе. В тревожную минуту он спровадил меня

в погреб, строго-на-строго приказав не курить, не шевелиться.

А на следующий день я уже курил вонючую немецкую сигару.

Такую же сигару курил немецкий жандарм, арестовавший меня в Тильзите.

С чисто немецкой настойчивостью он вез меня обратно к русской границе; русская лирика ему была чужда, он твердо и ясно знал, что меня надо сдать русским жандармам.

Я держался другого мнения: я не хотел немецко-жандармской опеки и русско-жандармской встречи.

И я увернулся: и от того и от другого.

В Базеле мне приказали в 24 часа оставить пределы кантона: я в косоворотке, в какой-то допотопной шляпе слишком выделялся на фоне благонамеренно-чинного базельского пейзажа.

Я двинулся дальше. Впереди ждал меня Париж.

Каторжный круг, от Сувалок до Амура и от Горного-Зерентуя до московских Бутырок, распался.

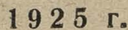
Начался новый,—эмигрантский.

1917—1924.

Кавказ.—Кубань.—Башкирия.
Крым.
Москва.

Цена 40 коп.





1925 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва, Рождественка, уг. Софийки, 4.
Ленинградское Представительство, Ленинград, Моховая, 36.

